ОГОНЁК

№ 24 ИЮНЬ 1990

ISSN 0131—0097



НЕДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

ОГОНЁК

Учрежден 1 апреля 1923 года

№ 24 (3282)

9 — 16 июня

ИЗДАТЕЛЬ — ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КПСС «ПРАВДА»

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:
Латвия. День Победы. (См. в номере материал «Весною в Риге...»)

Фото Марка ШТЕЙНБОКА

Оформление Н. П. КАЛУГИНА
при участии Г. Н. СИДОРОВОЙ

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.
Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп.,
на полгода — 10 руб. 38 коп.,
на квартал — 5 руб. 19 коп.

УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРОКАТА, ПОДПИСКИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЫПУСКОВ «ОГОНЕК-ВИДЕО» ПО ТЕЛЕФОНУ 212-15-79.

Сдано в набор 21.05.90. Подписано к печати 05.06.90. А 09454. Формат 70×108⅛. Бумага для глубокой печати. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,00. Усл. кр.-отт. 17,50. Уч.-изд. л. 12,05. Тираж 4 600 000 экз. Заказ № 2324. Цена 40 копеек.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

Телефоны редакции: Для справок: 212-22-69; Отделы: Публицистики — 250-46-90; Внутренней политики и оперативного анализа — 212-15-39; Литературы — 212-63-69 и искусства — 212-22-19; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Литературных приложений — 212-22-13, 251-90-55.

Телефакс (095) 943-00-70
Телетайп 112349 «Огонек»

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.



ДИАЛОГ

«Самое главное, что эта встреча состоялась, прошла успешно и достигнуты реальные результаты.

Эта встреча произошла в момент глубоких перемен во всей мировой политике, во всех частях, и особенно на Европейском континенте. Ну что ж, скажем, и в наших отношениях с Соединенными Штатами Америки, и в момент самых кардинальных, фундаментальных изменений в нашем обществе. Когда мы подписывали документы, я сказал, что если бы не было Мальты и того очень содержательного диалога, и первого такого личного контакта двух руководителей, хотя мы и раньше встречались с господином Бушем, то, я думаю, труднее было бы нам пережить вот эти месяцы после ноября, декабря, поскольку они были наполнены очень драматичными изменениями. И все же в эти месяцы, в эти поворотные дни оба наших государства, оба правительства действовали ответственно.



Телефото Ю. ЛИЗУНОВА и А. ЧУМИЧЕВА (ТАСС)

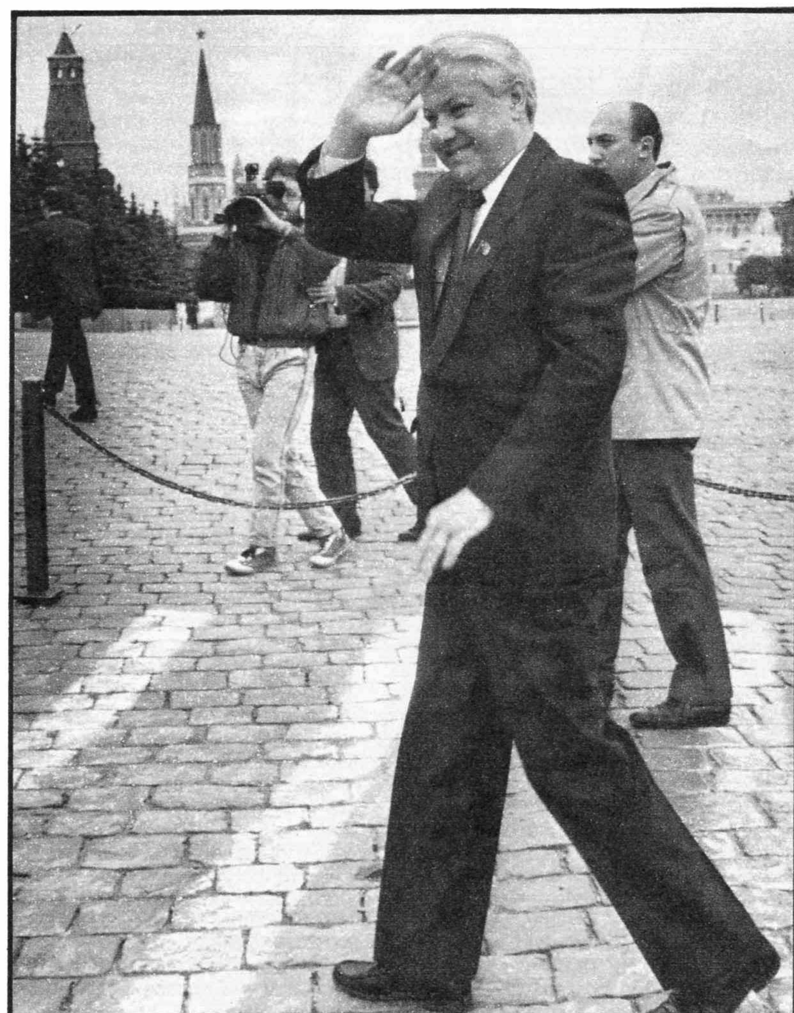
Так вот сейчас этот фактор взаимодействия — в контексте глубоких перемен, происходящих в мире, когда мы все хотим, чтобы оправдались наши надежды на лучший мир, на большую стабильность в международных отношениях, на сотрудничество, на то, чтобы процессы разоружения набирали силу и приносили бы плоды, чтобы высвобождались ресурсы на решение проблем социальных, на то, что улучшало бы жизнь людей.

Если с этих позиций посмотреть на эту встречу, пожалуй, я вижу, что ее результат как раз в том, что она придает устойчивость этим позитивным процессам перемен в международной политике».

Из интервью
М. С. Горбачева
Центральному телевидению

Среди событий 1990 года,
которые определят его значение для всех
последующих лет развития нашей страны,
будущие историки, безусловно, выделят
Съезд народных депутатов России.
И потому, что Россия —
огромная республика,
экономика которой интегрирована
во всю страну.
И потому, что исторически именно Россия была —
и остается — центром,
цементирующим державу,
о чем не забывают напоминать как вполне
здравомыслящие люди,
так и нагнетающие истерию
национал-патриоты.
Но Россия еще и некая,
по вековечной традиции, дремлющая мощь,
чье слово и дело — в баталии ли,
в духовном ли сражении — всегда было решающим.
Тут не впасть бы в излишний пафос
и не возвысить голос
великого народа
над народом малым.
Можно ведь и великому народу
оказаться в порабощении и, распыляясь
на отдельных людей,
перестать друг друга уважать.
Не высокомерием был отмечен первый этап
российского Съезда, а высокой озабоченностью —
за судьбу малых и больших народов,
населяющих Россию.
Горячий, порой нервный, скажем прямо —
и грубоватый,— этот Съезд лишен
дипломатической фальши,
хотя и вполне дипломатичен.
Он — крупнейшее политическое событие
прожитого момента,
с очевидной ясностью показавшее:
Россия выбирает путь!
И в это ее направление
пристально вглядывается страна.

Фото Юрия ФЕКЛИСТОВА



КАК ИЗБИРАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ



Фото Павла КРИВЦОВА

Народный депутат СССР, народный депутат РСФСР Николай ТРАВКИН отвечает на вопросы обозревателя «Огонька» Владимира ГЛОТОВА.

— Николай Ильич, у меня один главный вопрос: как избирали Председателя Верховного Совета России? Ваше восприятие развернувшихся на Съезде событий?

— Всем была ясна еще до начала Съезда цена ставки: куда Россия, туда и вся страна.

— Это ощущалось?

— Да, уже во время предвыборной кампании. А когда съехались на Съезд, ощущение еще более усилилось: решается не только судьба России.

Выбирая Председателя, выбирали не человека, а направление. Выбираем одного — Россия идет в сторону раскрепощения, здравого смысла, нормальной экономики. Движемся к нормальному человеческому обществу. Выбираем другого — возвращаемся назад. Есть и третий вариант: оставить все, как было.

И предлагаемые кандидаты на пост Председателя Верховного Совета как раз подчеркнули: выбирается направление — Ельцин или Полозков. Два крайних полюса. Если Полозков — идем назад, в командное прошлое, ко всеобщей деградации. Свою главную мысль Полозков выразил так: мы в состоянии взять обстановку под контроль и вести Россию к идеалу.

— Опять — под контроль? Под ИХ контроль и к ИХ идеалу?

— Что и было всегда.

Вторая позиция — Ельцина, она ясна. И Власов: есть возможность ничего не менять. Политбюро всегда ставило своих наместников над Россией — вот, мол, вам опять наместник «от Политбюро».

— А какова была раскладка сил? Ясна ли?

— Когда шли выборы, высказывались разные мнения: сколько консерваторов, сколько демократов...

По анкетным данным получалось, что 25 процентов депутатов не подвержены исправлению. Это верхняя номенклатура — партийная, советская, хозяйственная (ибо всех остальных нельзя относить к консервативной части), ну и, конечно, высшее руководство республики, КГБ, МВД.

Значит, наш потенциал — 75 процентов. А в нем около 30—40 процентов — люди, прошедшие выборы под знаком «Демократической России».

— А что же за сила остальные 35 процентов? Те, что, как вы говорите, тоже потенциально «наши»?

— Рабочие, научно-технические работники, интеллигенция, журналисты.

— А, скажем, председатели колхозов?

— Безусловно, хотя они и не выступали под флагом «Демократической России». Но говорить, что все они нажмут ту же кнопку, что и первый секретарь обкома, нельзя. Я исхожу из того, что человек по природе своей все-таки независим.

Первые дни Съезда показали: прогноз правильный.

В ходе второго дня работы Съезда, когда утверждалась повестка дня — отчет ли послушать, или сразу выбирать,— перевес был очевидный: подавляющее большинство за повестку дня, предлагаемую «Демократической России». И она прошла полностью.

Более щепетильный подсчет произошел во время конфликтной ситуации, помните? Литва, выступление Травкина, хлопки, свистки, фон с задних рядов, давление аппарата, шумовая эйфория, захлестывающая наиболее несдержанных, поднимающая их с кресел. Голосование: давать слово Травкину или нет?

— 499 — не давать слова.

— Да. Но 458 — «за». И 459-й стоит на трибуне. И это половина Съезда. А в числе тех 499, которые голосовали против, были и те, кто, допустим, сидит рядом с секретарями обкомов. Они, возможно, в душе «за», но секретарь рядом, смотрит.

Вот так во время голосований удерживалась устойчивая половина. Постепенно она даже возрастала, с каждым днем, с каждым разом.

Такой контрастной черты — половина консервативная, а другая радикальная — не было на Съезде Союза. Там вообще нельзя было какую-то часть выделить. Тона были размыты. А здесь — стенка на стенку.

Казалось бы, можно радоваться: половина Съезда настроена радикально, демократически. Настроена на перемены. Но становится страшно, что в России такой мощный консервативный пласт.

— Разделение на Съезде отражает реальный расклад сил в России? Или это издержки выборов?

— Здесь однозначной оценки нет. Общество движется, меняется все-таки в позитивную сторону. Ибо, если у нас действительно половина общества не желала бы перемен, то ни одна реформа не прошла бы. А общество все-таки кое-что сегодня впитывает. Необходимость рыночной экономики до большей части дошла, другое дело — как двигаться к рынку, за счет чего его вводить, но то, что рыночная система нужна,— это уже прозрение! Несколько лет назад мы вообще о рынке без плевка не говорили.

— Можно ли считать, что консервативной половиной, образовавшейся на Съезде, движут некие злые инстинкты?

— Я бы не считал, что все 50 процентов, не желающие ничего менять, поступают по злому умыслу. Есть, конечно, люди, которые против перемен потому, что понимают: изменив, лишаются места, власти и всего сопутствующего. Но есть депутаты, которые не понимают происходящего, не хотят перемен и не принимают их искренне.

Меня, например, забавляла реакция двух представителей высшего эшелона на предложение сформулировать вопрос повестки дня «о народном контроле». Давайте, мол, не «утверждение председателя комитета народного контроля», а просто «о народном контроле». И Василий Иванович откровенно из президиума начал расшифровывать: как же, мол, так, наверное, те, кто ставит так вопрос, чего-то не понимают.

Я поднял глаза: в президентской ложе сидят Бирюкова и Пуго. Лицо у Пуго невозмутимо, ни один мускул не дрогнул, а Бирюкова оживилась и, вижу, объясняет Пуго, что вот, мол, в зале есть депутаты, которые не понимают, что нельзя же без народного контроля, такие, мол, странные, что способны поставить само существование народного контроля под сомнение!

Я думаю, такие люди, как Бирюкова, искренне недоумевают: как это общество сможет существовать без народного контроля? И Василию Ивановичу это в голову не приходит. Для них подобное просто кощунственно — замахнуться на существование народного контроля.

И вдруг Съезд принимает формулировку «о народном контроле».

— Формулировку «странных»?

— Да. Проголосовали. И это означает, что не просто поставили под сомнение старую формулировку, а саму правомочность административно-командной системы, замахнувшись на один из основополагающих ее институтов. Ведь народный контроль мог родиться и существовать, иметь какой-то вес в обществе только при аппаратной структуре. Должна быть монополия партии на власть. Партия сама не компетентна руководить и расставляет везде своих наместников — не только отраслевых и территориальных,— но и своих сторожей. Когда замахнулись на народный контроль, то взяли под сомнение самое сокровенное в партийной командной системе, ее главный костыль. Отнять костыль, ну как сможет партаппарат влезать, указывать, карать?

Вот это был переломный момент на Съезде. Хотя он прошел незамеченным.

— А может быть, иные из проголосовавших за формулировку «о народном контроле» не вполне понимали, что сделали добро?

— Допускаю, подумали: ну какая разница — «о народном контроле» или «утверждение председателя»? Но большинство-то знало, что вопрос ставится о дальнейшем существовании этого института. На совещаниях «Демократической России» такой вопрос стоял. Звучали мотивировки, почему этот институт не нужен. Мы вводим финансовый контроль, судебный, есть ОБХСС — зачем же этот рычаг партийной власти?

Интересный сюжет, показывающий раскладку сил, радикальность российского Съезда в отличие от союзного,— это вопрос о Чикине, главном редакторе «Советской России». Ведь первый раз за всю историю съездов — будь то партийных или профсоюзных — человека не просто не включили в руководящий орган, а его, включенного в официальный список, вывели. Такого никогда не было. Тот, кто туда однажды попал, оттуда никогда не вылетал.

А все вместе, все эти моменты подводили к тому, что Съезд должен избрать Председателя Верховного Совета для перемен. Не для возврата назад и не для сохранения существующего порядка вещей.

На все накладывало отпечаток то, что депутатский корпус на 90 процентов новый. Голосуя против официальной постановки вопроса, каждый депутат как бы утверждался в своей собственной власти. И это самоутверждение сложилось и умножилось на тысячу при голосовании о включении в повестку дня вопроса о суверенитете республики. Кто-то, я думаю, и сегодня не понимает, за что голосовали, считает, что просто за увеличенные права, которые нам дали... Но я, например, голосовал за суверенитет государственный: Россия правомочна распоряжаться на своей территории всем и вся, по собственным законам, устанавливать их, экономические, политические, как любое другое государство.

Думаю, что вопрос о суверенитете России будет одним из самых серьезных столкновений в дальнейшей работе Съезда.

— А Ельцин? Как он понимает?

— Ельцин, конечно, понимает суверенитет, как государственный, а не как подарок, в объеме прав, пожалованных Президентом.

— Вы говорите о настрое Съезда, как он в отдельных элементах проявлялся. Ну, а сама манера ведения Съезда?

— Был преподнесен урок классически аппаратного ведения, когда председательствующий может довести до бешенства зал иногда просто из-за непонимания того, что происходит. Однако все равно ведет по направлению, которое ему задали.

Страшный момент был, на мой взгляд, тогда, когда выступал и отвечал на вопросы Полозков.

Полозков не просто был кандидатом от аппарата, представителем строго консервативного толка, который еще раз подчеркнул свою преданность Егору Кузьмичу Лигачеву. Некоторые его ответы на вопросы несли в себе такое непонимание экономики — это, кстати, и у Власова проявилось,— что зал прозревал: мы ищем, почему так плохо живем, хотя вроде бы богатая страна, а как мы можем жить хорошо, если такие люди, такого уровня правят страной на протяжении десятков лет. На что же можно надеяться завтра, если сегодня снова доверить таким людям власть?

— Это ваше собственное впечатление или вы передаете ощущение тех, кто сидел с вами в зале?

— У меня-то подобное ощущение появилось еще со Съезда Союза. Тогда у меня, помню, в курилке, еще на том союзном Съезде, вырвалось: «Это страшно, ребята, кто нами правит! На что мы надеемся?»

Тогда для меня это было открытием. Будучи рабочим, я смотрел на тех, кто наверху, как на богов. Считал, что там сидят очень умные люди, гораздо умнее меня, они напишут очень умные приказы-указы, и мы будем жить лучше. И вдруг я увидел, что там некому писать умные приказы.

И вот теперь, на этом Съезде, точно такой же вздох вырвался у кузбасских шахтеров. Стоим, курим, и кто-то из стачкома вдруг воскликнул: «Кто нами правит?!»

Даже те же мои слова повторил. Теперь для них это стало открытием.

А трансляция Съезда идет на страну. И вся страна охнула: кто нами правит? Нет, не богом мы обделенные, а системой. Система, которая может держать у власти людей не по их умственным способностям, а только по принципу преданности,— вот кто виноват. Ты предан системе, значит, она будет тебя передвигать со ступеньки на ступеньку, до самого верху. И рано или поздно ты оказываешься в верхних эшелонах, а потом мы ищем причины, почему нам не везет.

Я думаю, это открытие для многих.

— Какие еще моменты запомнились на Съезде?

— У меня хороший контакт с рабочими. Они считают меня своим, а я считаю их своими людьми, мне некогда было оторваться, я через эти атмосферные слои проходил очень быстро и до сих пор на некоторые вещи смотрю как рабочий.

Я выступал в Кузбассе. И закончил так: «Вот сегодня вы сидите, считаете, что вы рабочий класс, но ведь вы все глубже вторгаетесь в политику, а если вы вторгнетесь в нее поглубже, предложите свой политический вариант развития общества, вы перестанете быть рабочим классом, вас завтра же запишут в экстремисты и скажут: нет, это не наш рабочий класс, это отдельные неугодные элементы. Пока ты кладешь кирпичи, крутишь баранку, пока ты рубишь уголь и молчишь, ты рабочий класс. Ты гегемон. Как только ты выходишь на политическую арену, заявляешь о своем праве влиять как гегемон на ход событий — ты сразу превращаешься в экстремиста».

Российский Съезд подтвердил это — такое отношение к рабочим со стороны партаппарата. Вышел рабочий Богаенко. До этого партаппаратчики били себя в грудь и кричали: как же так, рабочий класс не прошел! Ему не дала пройти интеллигенция, эти журналисты! Эти профессора! Они своим краснобайством загородили путь к власти рабочим. А мы-то, партийные работники, всей душой за них.

И вот эти-то партработники не дали говорить рабочему Богаенко. Они его засвистали на третьей минуте. Топали на него ногами. И он увидел тот же оскал, который за несколько дней до него наблюдал с трибуны бывший рабочий Травкин. Ладно, они меня списали, потому что я теперь для них экстремист. Но вот Богаенко, который и сегодня еще рабочий. И он рядом с Травкиным в экстремистах? А может быть, в «экстремистах» уже большая часть прозревших рабочих?

Он уходил с трибуны удрученным. Обидно. Как же — рабочий класс, звучит гордо. Всегда ему говорили: мы для тебя, мы только для вас. Во имя вас!

Увидел не только он — все рабочие. И тогда собрались кузбассовцы, часть других рабочих, пришел и Богаенко. А на субботу и воскресенье была назначена учредительная конференция Демократической партии. До этого шли переговоры, но кузбассовцы отмахивались: нет, мы только что вышли из КПСС, у нас нет больше желания быть в какой-либо партии. Я им говорил: «Ребята, вы убедитесь сами, я не буду вас никуда толкать, сами подойдете и скажете: другого выхода нет. Надо создавать партию».

И вот они подошли. Говорят: «Все, больше не убеждай. Мы сами видим, что другого выхода нет. Нам надо создавать партию». Потому что с этим монолитом по-другому не справиться. Никакими движениями, никакими профсоюзами, а строгую партию со строгими структурами.

— Значит, почувствовали и не хотят быть опереточными, декоративными рабочими, хотят быть реальными, с реальной политикой?

— Реально влиять. А чтобы реально влиять, нужно быть организованными. Нужна партия.

— А есть ли в составе новой партии интеллигенция?

— Конечно. В основном интеллигенция.

— Сколько сейчас членов?

— Сейчас о членах нельзя говорить. Прошла учредительная конференция. Было 322 делегата. За ними стоят люди. За кем-то два десятка, за кем-то две сотни. Пока мы должны зафиксировать структуры, зарегистрировать их. Были представлены практически все регионы республики.

— Главные цели и средства?

— Во-первых, главная цель вовсе не борьба с КПСС. Создавать партию для того, чтобы с кем-то бороться,— это бессмысленное дело. Перед партией стоит четкая цель, я бы Демократическую партию назвал партией возвращения к здравому смыслу. Возвращения всего общества. И что очень важно: мы создаем партию переходного периода.

Все партии, которые сейчас создаются, правильно декларируют свои цели и средства. Все они за демократию. Но живут так и ведут себя так, как будто общество уже новое и они в этом новом демократическом обществе действуют. Мы же партия именно переходного периода, мы должны создать это новое общество. Пройти путь от общества с изувеченной психологией к обществу с нормальной. Для этого партия должна иметь среди прочих задач просветительскую. Мы должны разъяснить, особенно в рабочей среде, что ОФТ продолжает нам дурить голову по поводу эксплуатации, частной собственности, миллионеров, которые завтра все скупят, предпринимательства и так далее. Мы должны развенчать коммунистическую идеологию, которая нас привела к развалу, объяснить, что не может быть социальной справедливости, если идти через всеобщее обобществление к ничейной собственности. Она обязательно становится чьей-то, обязательно будут распределительная система, уравниловка и все то, что мы уже имеем. Вот здесь, конечно, борьба с КПСС в идеологической сфере. Но это борьба с КПСС в структурах парламента. Мы категорические противники вил и ружей. Мы люди здравомыслящие, и у нас хватит здравого смысла, чтобы через выборы провести своих депутатов, получить мандаты, сформировать исполнительные органы и через них претворять свои реформы в жизнь. Мы — партия парламентского типа и только парламентскими методами будем действовать.

А раз мы партия парламентского типа, то, значит, есть гарантия, что не превратимся в такого же монстра, как КПСС. Выдвинули программу, вы нас, допустим, поддержали, если мы не оправдали вашего доверия, ваших надежд, вы на следующих выборах за нас не голосуете, и мы уходим с политической арены. С нами не надо будет бороться, и мы не можем превратиться в государственную партию.

— А к чему зовете?

— К обществу, которое живет по законам здравого смысла. Все, что сегодня провозглашается в демократических институтах, мы поддерживаем. Рыночная экономика — хорошо, да. Но мы предлагаем свой путь перехода к ней. Отличный от того, который предлагает сегодня правительство под руководством КПСС. Мы уверены, что можно сегодня перейти в России к рынку без ущемления человека, даже в момент перехода. Мы не Польша. В Польше ничего нет. И ей нужно правительство, которое обладает доверием, и за счет этого доверия люди длительное время готовы терпеть.

Доверие необходимо и нам. Потому мы сегодня избрали Ельцина, у которого есть кредит доверия. Но мы говорим: почему, чтобы навести порядок в ценообразовании, надо обязательно повышать налоги? Почему надо начинать с налогов? Нет, говорим мы, налоги можно снизить.

— Где взять ресурсы? Где взять деньги?

— Прежде всего в военно-промышленном комплексе. Правительство Рыжкова почему-то ни копейки не собирается оттуда брать. А мы возьмем, в том числе и с тех государственных программ, которые не сработают на человека никогда,— со всех этих вращений рек против часовой стрелки, с осушений болот, со строительства сотен заводов на старых технологиях. Развернуть ресурсы государственных программ на человека.

Развернули, давайте посмотрим — хватит или нет, чтобы изменить ценообразование и при этом повысить автоматически зарплату. Не хватило? Где дальше брать деньги?

Давайте перестанем заниматься благотворительностью в отношении всего мира, чтобы там не плевали на нашу коммунистическую идеологию только потому, что мы их кормим.

— Отказ от идеологизированных символов?

— Давайте вернем и деньги, которые уходят на содержание ненужных аппаратов. На эти «народные контроли». Весь излишний аппарат существует только потому, что у власти, в том числе у хозяйственной, стоит компартия. Она их наплодила.

Опять не хватит? Давайте развяжем руки предпринимателю. Для этого нужно перестать шарахаться от таких понятий, как «частная собственность», от того, что «распродают Россию». Весь мир уже забыл и не считает, от чьего имени действует фирма,— был бы товар на прилавке. По доступным ценам и хорошего качества. Давайте интегрироваться в мировую экономику. Без сотрясения воздуха ужасными терминами. Вплоть до концессий, ничего страшного. Если мы нефть качаем ручным насосом, а потом, притащив ее к границе, убеждаемся, что она уже убыточная, так, может быть, лучше отдать под экологически чистую технологию и получать гораздо большую цену?

То есть интеграционные процессы и развязывание рук предпринимателям — вот огромный потенциал России. Мы сидим на добре, которое превращаем в дерьмо, и говорим, что его нельзя продать, потому что оно стратегическое. Вопрос стратегичности правительство сегодня трактует так: ну и что, что нам не нужно, что у нас пропадет? Если они покупают, им нужно, если они от этого будут сильнее, значит, это стратегия. Пусть лучше вообще пропадет, лишь бы они не стали сильнее.

В политике мы провозглашаем, что идем на разоружение, а хозяйственную политику ведем по принципу «не позволим».

Это началось с артели Вадима Туманова, затем — кооператива Артема Тарасова. Подобная же провокация была проделана с АНТом. Чтобы показать людям: самое милое дело — это монополия на внешнюю экономику государства. А государство грабило и разоряло страну за счет внешнеэкономической деятельности на протяжении всего времени.

Итак, развяжем руки предпринимателю. Опять не хватит? Надо идти на разгосударствление, включая приватизацию. Для чего мы сидим как государство на парикмахерских? Почему над ними должны быть тресты, главки и министерства? Пусть люди, которые там работают, их купят. Нет денег, давайте кредит предоставим. Не хотят брать в кредит, пусть берут в аренду и через аренду выкупают. Государство не должно их субсидировать, держать на дотациях. Приватизация — это огромный приток средств, включая землю. Да, крестьянина, который на земле сидит, заставить ее выкупать — грех. Ему надо отдать землю бесплатно и еще приплатить, дать кредиты беспроцентные на машину, на гараж и на дом, только работай. Но дачные участки? Купит их человек? Купит с удовольствием. Причем земля не самый дорогой товар в мире. Зато самый ходовой. По сто рублей за сотку я вам заплачу. А если на болоте — по 50 рублей. Но я буду знать, что это мое. И буду знать, что ко мне не придет председатель сельсовета и не скажет: «Я здесь решил канализацию протащить». Тащи канализацию, но заплати. И я тебе цену назначу, поскольку это мое.

А ведь все это — миллиарды! Говорить, что у нас нет средств, чтобы перейти к ценообразованию и стабилизировать рубль,— это чушь. У нас самая обеспеченная валюта в мире. Не обеспечен доллар, там все продано. Проданы дома, заводы, земля. А у нас ничего не продано, мы же говорим: рубль не обеспечен.

Он обеспечен. Но надо перешагнуть через идеологические стереотипы. Вроде бы здравый смысл подсказывает, что надо сделать шаг, но идеология говорит: «Нельзя».

Я образно сравниваю так: тюрьма, камера. Из камер нас выпустили. Стены этой тюрьмы были сложены из так называемых коммунистических идеалов: «примат классовых ценностей над общечеловеческими», «всеобщая конфронтация», «мир на нас нападет»... и так далее. Эти стены Горбачев разрушил. Нет классовых, есть общечеловеческие ценности и миролюбивая политика. И нас поняли, мир к нам развернулся: смотрите, да они с дерева слезать начали, уже чего-то по-человечески лопочут.

Из внутренней тюрьмы нас выпустили, и мы оказались в тюремном дворике. Нам сказали: вот, теперь демократия, гласность, можете говорить, смотреть, ходить. Все прыгают в этом дворике, а дальше-то забор, колючая проволока — уже не из коммунистических, а из псевдосоциалистических ценностей. «Эксплуатация человека человеком!» «Частная собственность!» На углах забора вышки, на вышках партаппаратчики с рупорами и вещают на весь дворик: «За забор нельзя, там капитализм! Вот здесь, внутри дворика, социализм, мы будем его обновленным делать». Экстремисты призывают: внутри этого дворика мало идеологического пространства, нельзя построить интерес человека к работе, нельзя создать рыночную экономику, надо — за забор! Им с вышек: «Нет, наш народ за забор не пойдет. И никому ломать его не позволит. Все — в рамках социализма!»

Вот наша зашоренность. Сломать этот забор — задача новой партии. Сломать на идеологическом фронте. Убрать с вышек людей с рупорами, развенчать.

И это выводы, которые вытекают из Съезда России. Это и задача Съезда.

— Прошел один из главных его этапов — выборы Председателя. Демократические силы победили.

— Ельцина выбрал не Съезд, его выбрал народ. Не потому часть аппаратчиков отдала свои голоса Ельцину, что они за эти дни прониклись к нему любовью,— тысячи телеграмм пришли в его поддержку, и все же депутаты едут домой, видят настрой людей. И если бы откровенно каждый отдал бы выбор Председателя на решение народа, то большинством голосов был бы избран Ельцин. Процентов 60 с лишним он набрал бы. Кредит доверия есть только у него. И эти ребята из аппарата прекрасно понимают: поставь они кого-то из старой обоймы, не будет доверия, не пойдет ни одна реформа. Значит, начнет нагнетаться обстановка, которая приведет к бунту, а бунта они боятся, потому что бунт сметет всех. А телеграммы однозначны. Донецк, Воркута, Кузбасс, Краснодар. Если не выберете Ельцина — забастовка! Настрой виден. И народ, забастовав, будет прав. Почему решаете не так, как думаем мы? Вот этот страх, боязнь того, что волна снизу снесет их, страх, что по трапу самолета придется рано или поздно сходить, из вагонов-то придется вылезать и идти к избирателям, что эти стены не на всю жизнь и за стенами не скроешься. Ни в Москве, ни за стенами обкомов. Вот это все и заставило какую-то часть аппарата вернуться на почву здравого смысла.



ВЕСНОЮ В РИГЕ...



Анатолий ГОЛОВКОВ,
Марк ШТЕЙНБОК (фото)

Такая жизнь настала, что у вас, дорогой читатель, радиослушатель, избиратель, будущий супер-налогоплательщик, может закружиться голова. Создаются партии, публикуются декларации, оглашаются указы. Куда нас только не зовут! И вперед, к коммунизму, и неподалеку — «к социализму с человеческим лицом», и чуточку назад, к брежневизму («Так спокойно было и полно продуктов»)... То ли

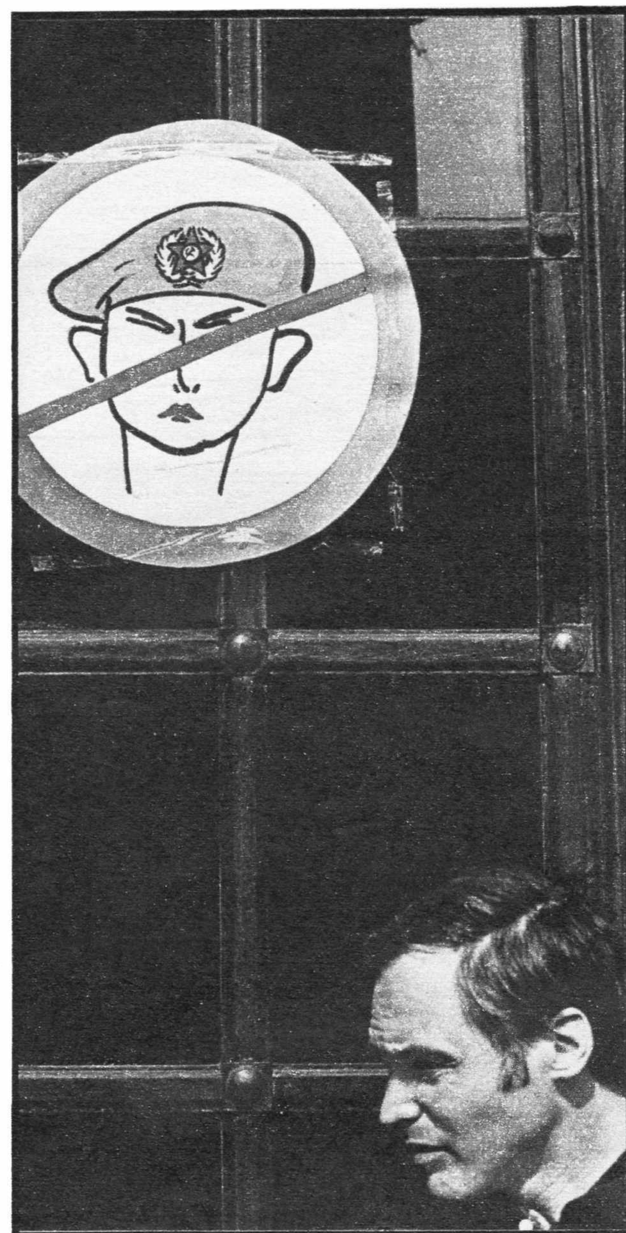


к капитализму, то ли опять назад, к ленинскому нэпу. То к шведскому варианту, то к венгерскому. Если вы еще не выбрали для себя плотик в этом бушующем океане политических страстей, выбирайте. Уж если заблуждаться — так с музыкой!

Моя же немало повидавшая на своем веку мама остается при своем мнении: «Гуманный социализм, негуманный... Пойдите с сестрой, займите очередь, кажется, мыло дают...» — и отсчитала несколько талонов из домоуправления.

Это были дни, когда Президент еще не сказал «нет» латвийской Декларации о независимости, но уже определился по отношению к Литве. Экономические санкции против Литвы немедленно отразились на соседней республике. Поползли слухи, наученный войною пожилой народ начал скупать соль, спички, мыло, макароны, тушенку, даже резекненское сгущенное молоко, которого уж всегда... Стало трудно перемещаться из Москвы в Ригу на автомобиле. Неприятности начинаются уже в Белоруссии: 40 литров бензина для местных жителей, 10 — для приезжих-транзитных. Ушлые «автолюбители» — рижане прикручивают бочку на крышу к багажнику и едут в Витебскую область, но часто бензина едва хватает, чтобы вернуться назад. А в Латвии бензоколонки закрыты: кризис. Все это, безусловно, раздражает как латышей, так и русскоязычное население. Между тем, по результатам опроса общественного мнения, 46 процентов «русскоязычных» ощущают Латвию родным домом и хотят жить в ней, даже если государственный статус изменится. Они ощущают себя прибалтами.

Выдержке прибалтов вообще можно позавидовать. Бесполезно, к примеру, ночь напролет кататься на танке по здешнему городку, не давая заснуть ни взрослым, ни детям,— никто из дому не выскочит, не станет колотить дубиной по броне, как вес-



ной прошлого года в Тбилиси... Рига демонстрирует как будто полное единение «армии с народом»: десантники угощаются вкусным рижским мороженым и возятся в парках с детишками... Что же будет завтра?

О Латвии можно судить-рядить по-разному. Например, с точки зрения юрмальского курортника, который не смог купить кофточку в магазине без визитной карточки или отказались разговаривать по-русски. Такое тоже есть, бывает и бывало раньше. Но я сужу о ней иначе, потому что Рига — город моей юности, где теперь улицы изменили имена, флаги — цвет, а друзья заметно поседели...

Рига



■

В последнее время в печати много говорится о непомерных военных расходах, а с развитием хозрасчетных отношений эти расходы будут увеличиваться.

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР введен так называемый нормативный порядок договорного потребления электроэнергии. Смысл его сводится к тому, что за перерасход договорной величины ее потребления в течение квартала потребитель уплачивает десятикратную стоимость количества превышения. А за недобор договорной величины применяются надбавки к стоимости непотребленной электроэнергии в размере 50% к тарифу. Таким образом, потребитель платит штраф за экономию. Только за первый квартал 1990 г. в одной из частей ПВО уплачено таких штрафов на сумму, равную годовой потребности воинской части на ремонт и обслуживание военной техники. И каким образом, хотелось бы спросить у авторов вышеназванного руководящего документа, можно определить квартальное потребление электроэнергии в войсках ПВО, если расход ее зависит от интенсивности полетов авиации сопредельных стран вдоль Государственной границы СССР? Но эти доводы командиров воинских частей ПВО руководителями энергоснабжающих организаций во внимание не берутся, и деньги с текущих счетов воинских частей снимаются без согласия последних. Такое право предоставлено им Госбанком СССР. Хотелось бы знать, в каком еще государстве за экономию потребитель расплачивается собственным кошельком?

И. ГРАБОВОЙ,
военнослужащий
Хабаровск

■

Каждое утро слышу по радио Гимн Советского Союза. Единственное чувство, возникающее при этом,— это чувство стыда за нас всех. Мы нашли в себе силы сказать столько правды о таких вещах, о которых раньше даже думать боялись, а вот к гимну до сих пор боимся подступиться. Или же наш гимн действительно отвечает тем требованиям, которым должен отвечать, а именно: отражать суть, может быть, даже душу страны и народа?

Не буду приводить текст, все его отлично знают, а потому согласятся, что каждое или почти каждое слово в нем — лицемерие, ложь, а весь гимн в целом — набор пустых барабанных фраз, мертвых догм, восхваление несбывшихся мечтаний.

Вопрос о гимне надо было ставить давно, когда мы начинали пересматривать то, что мы построили, и то, что хотим строить. По-моему, гимн государства вообще не должен иметь отношения к политике, тем более в нем не должны упоминаться какие-то конкретные партии и цели. Ведь время меняется, партии приходят и уходят, а остаются страна и народ.

А посему в гимне должны быть отражены какие-то вечные понятия, неизменные для данного народа с течением времени. Чтобы любой человек, услышав гимн, не понимая его слов, мог сказать: это — гимн России, а это — гимн Белоруссии и т. д. А что у нас? Штампованный набор гимнов, гербов и флагов для всех 15 республик. Этот набор никак не связан ни с историей народов, ни с их национальными традициями, в нем не соблюдены даже элементарные законы геральдики.

Хочется надеяться на начало серьезного разговора на эту тему, ибо уверен, что не только меня волнует этот вопрос.

О. УСТИНОВИЧ,
художник,
Т. ШКУЛИНА
(всего пять подписей)
Хабаровск

■

На магистральном газопроводе, проходящем через Курганскую область, произошла авария: разлом трубы, возник пожар. К счастью, жертв нет. Но сколько мы можем надеяться на это? В Тюмени — пронесло, под Уфой — нет, в Кургане на этот раз пронесло, а где ждать очередные жертвы нашей безответственности и самонадеянности при прокладке газопроводов? Может быть, здесь же в Кургане? Ведь строительство газопровода ведет неспециализированная организация, не имеющая разрешения от местных органов Госгортехнадзора; согласно «Правилам безопасности в газовом хозяйстве», она не должна вести подобные работы.

Жители района, где должен пройти газопровод, не хотят быть заложниками газовой трубы. Десятки писем с сотнями подписей ушли по этому поводу в различные инстанции. Но вопрос не решен. Уроки случившихся трагедий не идут нам впрок.

Г. СМИРНОВ,
народный депутат Советского районного Совета
Курган

■

Становится стыдно и больно, когда читаешь или слышишь высказывания, где в категоричной форме призывают высылать гомосексуалистов чуть ли не на Луну или Колыму, сажать в тюрьму, убивать, принудительно лечить. Называют развратниками, растлителями, обвиняют во всевозможных преступлениях. Сколько слепой злобы, невежества и сексуальной безграмотности во всем этом!

Гомосексуализм существует столько же, сколько существует человеческое общество, и наша страна отнюдь не является исключением, хотя до недавнего времени нас убеждали в обратном. Поскольку у нас гомосексуалистов как бы не было, естественно, не велись серьезные научные исследования в этой области, нет хороших специалистов, почти нет научной литературы, а о популярной я вообще не говорю. Почему молчат сексологи, сексопатологи, юристы, социологи в освещении этой очень сложной и серьезной проблемы?

Т. ПОЛТАВЧЕНКО
Томск

■

Уже 12 лет я работаю на московском заводе игрушек «Кругозор», последние пять лет в гальваническом цехе. Привыкла ко всему. И к вредным условиям производства, и к скромной зарплате. В сентябре прошлого года, когда нас чуть ли не силой направили на работу в кооператив «Искатель», который взял в аренду несколько цехов, тоже не особенно волновалась. Однако, проработав в кооперативе несколько месяцев, вдруг почувствовала, как в общем-то привычно-безучастное отношение к производству сменилось ощущением человека на своем месте, нужного людям. И дело не только в том, что в кооперативе за счет новой организации труда увеличились и зарплата, и отпуск. Мы все поняли, что в нашей жизни реально возможны перемены к лучшему. Однако не тут-то было.

Хотя наш кооператив работал по госрасценкам, установленным заводом, в срок и качественно выполнял все задания, администрация тянула с подписанием договора об аренде. Мы верили, что это временные трудности, связанные с «согласованием вопроса». Но вот в конце апреля директор завода А. М. Лобанов объявил, что разрывает отношения с кооперативом, рабочим же предложил обратно вернуться под «крышу родного завода». Правда, ни денег, ни отпуска, аналогичного кооперативным, не обещал. Да не в деньгах дело: по заводу ходили разговоры о том, что неплохо бы все предприятие сделать кооперативным, реально передать его рабочим. Может, тогда завод, который лихорадит постоянно, вышел бы наконец из прорыва?

Два цеха, в которых трудятся около 60 человек, отказались покидать кооператив. В ответ администрация приказала не пускать нас на завод и объявила о приеме на работу желающих на наши места.

Сейчас мы каждый день выходим с плакатами к проходной завода и стоим там по нескольку часов. Стоит и наше производство, вскоре встанет и весь завод — ведь без наших деталей он работать не может. Администрация же ищет штрейкбрехеров — по-другому это не назовешь. Нас то уговаривают, то просто нам угрожают. Неужели мнение рабочих, многие из которых трудятся на «Кругозоре» по 30 лет, никого не волнует? Неужели мы не заслужили элементарного уважения?

Т. МАРЧЕНКО,
травильщица цеха № 11 московского завода игрушек «Кругозор»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По оценкам читателей лучшая публикация апреля — «Спор о рынке: доводы, добытые в Америке» (№ 16). Автор этой статьи Василий Селюнин становится, таким образом, лауреатом ежемесячной премии американской фирмы КОМПЬЮТРЭЙД ИНТЕРНЭШНЛ, ЛТД.

ОСВОБОДИТЬ ПЛЕННЫХ, ОСТАНОВИТЬ КРОВОПРОЛИТИЕ!

Совместное заявление Президиума Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана и редколлегии журнала «Огонек»

Москва, 30 мая 1990 г.

Проблема военнопленных продолжает волновать народы СССР, Афганистана, Пакистана и ряда других, в том числе мусульманских, стран, в той или иной мере оказавшихся втянутыми в кровопролитный афганский конфликт. Правительства и общественные организации этих стран предприняли, казалось бы, все необходимое для скорейшего решения этой проблемы. Однако далеко не все резервы использованы.

В первую очередь мы имеем в виду мусульманский фактор. Именно поэтому Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана совместно с журналом «Огонек» решили направить делегацию в Пакистан для проведения переговоров с руководством моджахетдинов Пакистана, а также религиозными деятелями ряда мусульманских стран. Состав делегации: муфтий Мухаммад-Содик Мухаммад-Юсуф (глава делегации), собственный корреспондент «Огонька» по Средней Азии Алим Мирзаев и обозреватель «Огонька» Артем Боровик. Отъезд запланирован на 20 июля сего года.

Более года участниками делегации велась подготовительная работа по целому ряду направлений. Оценивая проделанное, во время очередной встречи в редакции «Огонька» глава мусульман Средней Азии и Казахстана сказал:

— Советские военнопленные в Афганистане — это наша боль. Однако не могут оставить нас равнодушными и те афганцы, что находятся по сей день в плену у моджахетдинов. В свою очередь, тысячи моджахетдинов томятся в тюрьмах Афганистана. Мы со всей решимостью взялись за святое дело освобождения этих людей вне зависимости от их национальной или религиозной принадлежности. Мы делаем это во имя матерей, проливающих слезы, страдающих в разлуке. Проблему военнопленных я обсуждал с представителями моджахетдинов во время посещения Саудовской Аравии, Ливии, Иордании и других стран. Я передал конкретный список военнопленных главе Всемирной исламской лиги Абдулло Умару Насефху. Готовность оказать помощь в этой гуманной акции выразили и Генеральный секретарь Ливийской Исламской организации господин Мухаммад Ахмад Шариф, другие религиозные, общественные, политические и военные деятели мусульманских стран. Члены нашей делегации побывали в Кабуле, Лондоне, Нью-Йорке, Вашингтоне, Карачи, Пешаваре, Исламабаде, где провели переговоры по проблеме освобождения военнопленных с видными представителями заинтересованных политических, религиозных и деловых кругов мира. Мы не даем беспочвенных обещаний, но мы верим в успех.

В дальнейшем «Огонек» и видеоприложение к журналу будут информировать наших читателей и зрителей о деятельности муфтия Мухаммада-Содика Мухаммада-Юсуфа, Алима Мирзаева и Артема Боровика.

Журнал «Огонек» берет на себя роль спонсора этого благородного дела.

Редакция журнала и Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана выражают надежду на сотрудничество всех людей доброй воли. Мы убеждены в том, что предстоящие встречи и переговоры помогут решению кровопролитной афганской проблемы.

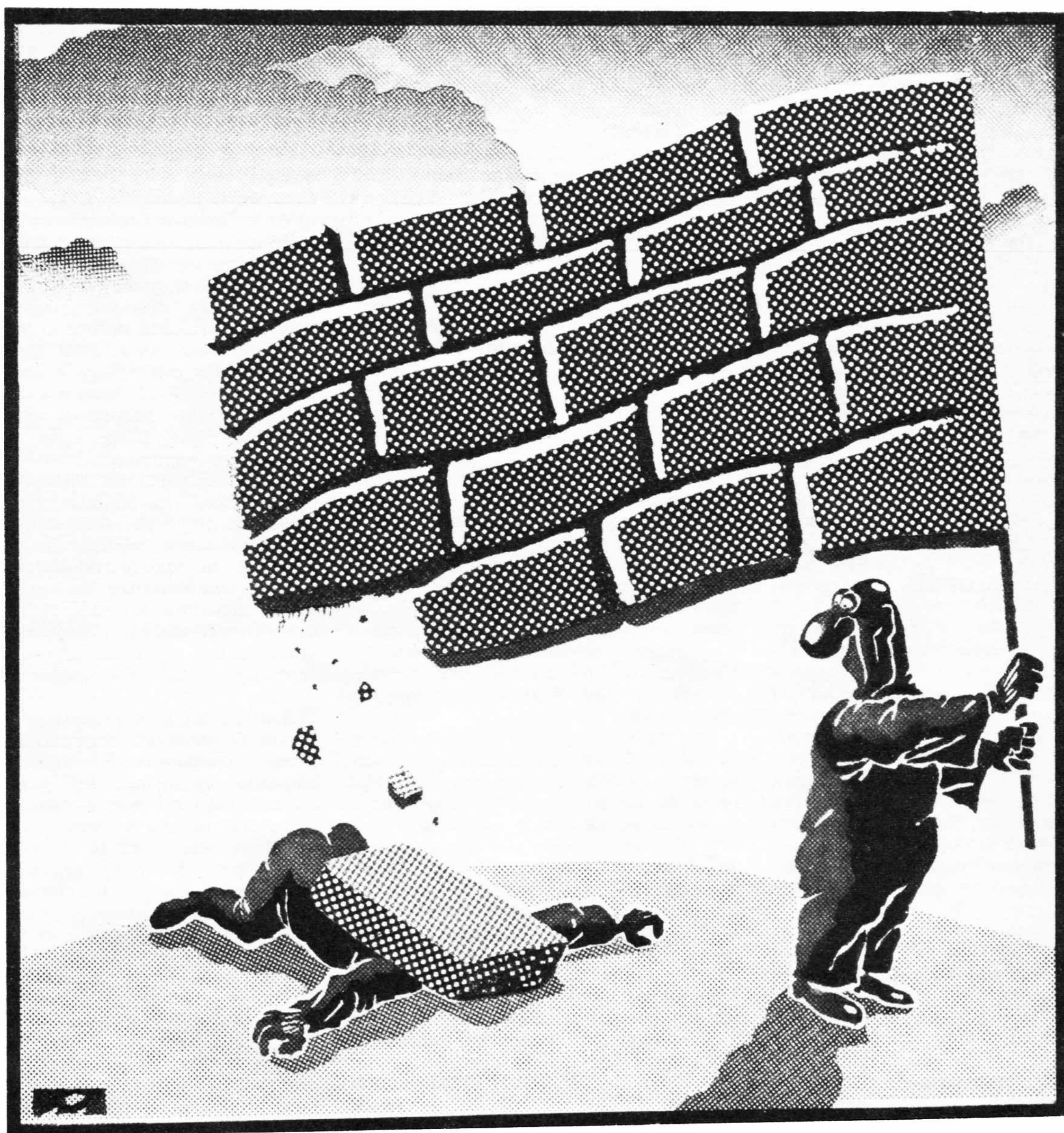


Рисунок Алексея МЕРИНОВА.

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

СЪЕЗД И РАЗЪЕЗД

Всеволод ВИЛЬЧЕК

С несколько странным чувством я вчитывался в предсъездовские дискуссии о грядущем КПСС. Грядущем партии, в которой я прожил почти тридцать лет,— стало быть, о своем грядущем. Очень часто казалось, что спор ведут либо сплошь политики, которым язык дан затем, чтобы скрывать свои мысли, либо утратившие чувство реальности, своеобразно религиозные люди. Не случайно то и дело звучало: «Верю, что партия выйдет из кризиса», «Верю, что партия найдет в себе силы вернуть доверие масс». Верить можно во что угодно. Но логика дает основания утверждать: КПСС, какой мы ее знали и знаем или модернизированная по предложенному проекту Устава, подошла к своему последнему рубежу. Вот не все, но основные причины, побуждающие понять, что воскреснуть наша партия может, лишь преобразившись, а не преобразовавшись.

Теоретический кризис КПСС. Может ли существовать компартия, в которой нет людей, считающих построение коммунизма реальной целью или хотя бы дальним ориентиром движения? Правда, по некоторым социологическим данным, такие люди в партии есть — их 4,5 процента. Они хотят строить коммунизм, однако не знают, что это такое конкретно. Так, царство Божие на земле. Молочные реки с кисельными берегами. «Заоблачная мечта», как сформулировал свое представление о программной цели КПСС член ЦК КПСС Б. Н. Ельцин, на всякий случай добавив, что коммунизм, по его мнению, несовместим с демократией. Почему заоблачная мечта несовместима с демократией — одному Борису Николаевичу известно. Но то, что коммунизм несовместим, например, с принятым Верховным Советом СССР Законом о собственности,— юридический факт. Реабилитируя, хотя и под разными прозрачными псевдонимами, буржуазное право, депутаты-коммунисты запамятовали, что в «Коммунистическом манифесте» категорическим императивом компартии провозглашается «уничтожение частной собственности», и по оплошности поставили коммунизм вне закона.

Казуистика, зубоскальство? Нет. Всего только наиболее адекватная — полуабсурдистская — иллюстрация завершающегося процесса распада нашей социальной доктрины — квазирелигии, бывшей (точнее, считавшейся) официальной идеологией партии. Преодолеть теоретический кризис КПСС можно только одним путем: заменив «исторический материализм» историческим реализмом.

Последний, кстати, не отрицает возможности коммунизма как состояния, возникающего за горизонтом современной (индустриальной) цивилизации. Некоторые черты подобного общества, освобожденного от нетворческого труда автоматикой, превратившего труд в самодеятельность, а отнюдь не в бесплатный, как на комсубботниках, труд, провидчески постигнуты Марксом, некоторые описаны футурологом Тоффлером в знаменитой книге «Шок будущего», показывающей сложные, подчас трагические коллизии, с которыми встретится грядущее человечество. Но эта историко-философская проблематика не является актуальной для политической партии. Реальная же цель нашей партии достаточно точно, на мой взгляд, определена в Платформе ЦК КПСС: демократический и гуманный социализм.

Подобный социализм — это общественное устройство, предполагающее максимально достижимый в конкретных условиях компромисс частных и общественных интересов. Максимально возможный уровень социальной защищенности слабых, бесконфликтности и экологической безопасности. Это отнюдь не экспериментальное, не «первопроходческое», не противоположное капиталистическому, а нормальное современное общество с социально ответственным государством. Государством достаточно сильным, чтобы контролировать рыночную стихию, снижать напряженность в обществе, обеспечивать выполнение общенациональных программ, но стремящимся стать не еще более сильным, а слабым, ибо чем лучше идут дела, чем гармоничней отношения в обществе, тем меньше нужды в регулирующих усилиях власти.

Однако подобный социализм, контуры которого очерчены и в Платформе ЦК,— это общая цель мировой социал-демократии... в «скатывании» к которой партортодоксы обвиняют партдиссидентов, «раскольников». Странная логика: выступать за демократический социализм, но отмежевываться от социал-демократии. Это примерно то же самое, что жаждать воды, но категорически отвергать H_2O.

С такой раздвоенностью сознания здоровой партия быть не может. Излечимся — значит, войдем в блок всех прогрессивных, демократических сил, различающихся оттенками, оценками прошлого, терминами, в которых они описывают те или иные явления и идеи, но не существом идей. Все — будь то либералы или «зеленые», христианские или конституционные демократы — представляют собой сегодня не столько партии, сколько клубы или общественные движения, способные объединиться на подлинно принципиальной основе. Ибо все, поостыв от митингов, понимают: единственно реальной альтернативой демократическому социализму в нашей стране является национал-социализм, фашизм, прикрытый до времени то чалмой, то щитами отрядов спецназначения, избивающих «сионистов» на площади Маяковского, то газеткой «Пульс Тушина», издаваемой сорокатысячным тиражом «неведомо»

для райкома кем и неведомо как организующей шовинистские митинги в клубе оборонного предприятия. И надо быть безумцем или слепцом, чтобы не осознавать, не видеть: шансы этих сил на успех, к сожалению, с каждым днем возрастают.

Причины? Кризис империи, вдохновивший на браконьерский подвиг прибалтийских сепаратистов, а в метрополии порождающий нечто сходное с «алжирским синдромом», угрожавшим фашизацией Франции после вывода их «воинов-интернационалистов» и их «интерфронтовцев» из Алжира. Но во Франции не было ни паралича экономики, ни огромного числа маргинальных, выпавших из традиций, вообще из культуры групп, ни столь острого чувства национальной униженности (ФРГ не предлагала ей свою благородную, свидетельствующую о подлинном гуманистическом возрождении, но все-таки горькую для победителей-освободителей помощь продуктами пропитания), ни кризиса социальной доктрины, о котором мы говорим. Доктрины, функционировавшей как квазирелигия, порождавшей лицемерие, двоедушие, шизоидный склад общественного сознания, но все же интегрировавшей общество официальным единонемыслием, конформизмом, быстро разлагающимся в условиях полугласности — увы, не на ложь и правду, а на фанатизм и цинизм. Во Франции обошлось введением президентской формы правления. У нас может не обойтись. Надо быстрей обретать чувство реальности.

Моральный кризис КПСС. Перед выборами и повторными выборами в местные Советы я не раз получал листовки инициативных групп, сватавших избирателям своих кандидатов. Две «невесты» — инженерши из «почтового ящика» — не вызывали соблазна своими программами, но зато в листовках деликатно подчеркивалось, что они беспартийные. «Нехорошо гордиться, но прочим не в укор, скажу: моя девица — девица до сих пор»,— вспомнил я почему-то стихи И. Уткина. Впрочем, не вспомнил бы, не обратил бы на эту обычную анкетную формальность внимание, если бы не листовка в поддержку третьего кандидата — сотрудника МВД. Выглядел «жених» состоятельней, но вот упомянуть о его партийности авторы листовки не посчитали уместным. Как и о том, что он замполит отдела милиции. Если так и дальше пойдет, то в анкетах скоро будет графа: «Являлись ли членом КПСС?»

Являлся. Являюсь. И, как это ни горько, признаю себя виноватым в том, что богатейшая по ресурсам страна доведена до нищеты и банкротства. Природа — до деградации. Люди — до вандализма межнациональной резни. И если не переломить роковой ход событий, начав с раскаяния путь к спасению, то вскоре в державе — на радость всем борцам с бюрократией — достаточно будет оставить всего два министерства: внутренних и иностранных дел. Первое — для тушения очагов конфликтов, которые в стране, начиненной оружием и ядерными реакторами, в любой миг могут обернуться вселенским Чернобылем. Второе — для взимания дани с мирового сообщества, оказавшегося заложником обезумевших толп, попавших в тупик истории.

Партия в этом не виновата? Виноваты «функционеры», не имевшие ни ума, ни чести, ни совести, виноваты Сталин, Брежнев и прочие вчерашние идолы, от которых мы отреклись, не покаявшись, а совершив нечто подобное языческому обряду поругания лжекумиров? Не надо заниматься самообманом: ни Сталин, ни Брежнев не могли бы стать лидерами христианских демократов или кадетов; они могли быть вождями только тоталитарной партии. Виноваты мы, члены партии, доведшей страну до необходимости перестройки. Но перестройка, великая цель которой — спасти исторически заблокированное своим противоестественным состоянием общество, позволив перейти накопившимся противоречиям в открытую форму, в кризис, породила еще один мучительный парадокс. У многих людей именно «перестройщики» вызывают особую неприязнь: до перестройки жилось все-таки спокойнее и сытнее.

Это не совсем справедливо: чудо, что в условиях противоестественного отбора вообще могли появиться такие лидеры, какие все-таки есть. Трудно обвинять и обществоведов, которые обязаны быть экспертами «судьбоносных» решений, предсказывать их последствия: люди, пригодные на такую роль (исключения единичны), имели шансы попасть лишь в один институт — имени Сербского. Вот и некому оказалось предупредить, что «реальный социализм» — это такой больной, у постели которого уместно было бы вспомнить фразу из старого анекдота: «Будем лечить — или пусть живет?»

Конечно, «лечить», начинать перестройку было необходимо. Но ответственность за последствия, которые, безусловно, могли быть не столь тяжелыми, уже целиком на лекарях, поставивших дилетантский диагноз и предложивших плохо продуманный план лечения. В результате доверие к партии еще более снизилось, исчезли и надежды на то, что партия, отказавшись от хозяйственных функций, возьмет на себя роль политического гаранта реформ. В определенном смысле консолидирующая функция партии сохранилась, однако сменила знак: весьма разношерстные слои и движения консолидированы неприязнью к партии. Неприязнью к нам.

И все же — предвижу я возражение — выборы в Советы свидетельствуют, что многим членам КПСС избиратели не отказали в доверии. Да и это естественно: в партию шли не только карьеристы и конформисты, не только посредственности, стремившиеся возместить таким образом недоданное природой, не только представители нацменьшинств, которым членство в КПСС обеспечивало нечто вроде статуса выкреста в дореволюционной России, но и просто социально активные люди, не видевшие иной возможности реализовать свой общественный темперамент, призвание и талант. Некоторым из них избиратели выразили доверие, но не как членам КПСС, а несмотря на партийность и зачастую лишь получив от избранников какие-нибудь свидетельства их независимости от партии.

Жаль, что мы не догадались сделать не уставный, говоря языком военных, но логичный шаг: условиться, что делегатами XXVIII съезда могут быть только народные депутаты. Вероятно, это существенно изменило бы отношение к партии, стало бы серьезной гарантией возвращения заблудших сынов социал-демократии в отчий дом, обусловило бы спокойный и незашоренный поиск ответа на самый больной вопрос: какой быть партии в условиях федеративного переустройства страны и парламентской демократии, как преодолеть свой функциональный кризис?

КПСС сложилась как организация власти, как своего рода государство-церковь, в котором фальсифицированный марксизм оказался подходящим суррогатом религии. Лозунг пролетарского интернационализма камуфлировал имперскую структуру страны, а жупел частной собственности как основы эксплуатации освящал бюрократическую систему правления. Но действительной религией партии была власть.

Власть без ответственности, без надежного механизма обратной связи, власть за ширмой Советской власти и своеволия вассальных ведомств — это очень плохая власть. Хуже ее могло быть только одно: двоевластие. Убежден: нельзя было разрушать сложившуюся структуру власти, ее следовало лишить ханжества, обнажить, радикально демократизировать, изменить ее функции, превратив парткомы, по существу, в Советы, в их политическую палату, контролируемую палатой представителей любых неполитических общностей. Наивностью было думать, что люди, воспитанные в условиях лжи, страха, рабства, дай им только свободу, тотчас же превратятся в созидательный «демос», а не разрушительный «охлос», что не начнется распад экономики и страны.

Но сегодня уже бессмысленно обсуждать, была ли альтернатива действительно судьбоносным (хотя и очень поразному судьбоносным для 600 000 беженцев и прибалтийских сепаратистов, для КПСС и ДС) решением XIX Всесоюзной партконференции, открывшей путь к парламентской демократии и ящик Пандоры одновременно. Практически это уже не более продуктивно, чем спорить: была ли альтернатива Октябрю или коллективизации. Прогнозы и выводы надо делать уже исходя из факта необратимости перемен, чтобы не уродовать начавшиеся процессы и не уродоваться в бесполезной борьбе с ними.

Какие прогнозы делают сегодня в парткомах, освобожденных от груза «не свойственных партии» властных функций, административно-хозяйственных и т. п. забот, лучше всего можно выразить словами Некрасова: «Пали с плеч подвижника вериги, и подвижник мертвый пал!»

Знаю, что очень многие партработники — это умные и честные люди, виноватые только в том, что, если бы не их отчаянные усилия и умение как-то сводить концы с концами, наш «развитой социализм» значительно раньше и в более благоприятных условиях дозрел бы до необходимости перестройки. Но я говорю не о людях, а о партаппарате как политическом институте, имеющем свои объективные интересы. А они таковы, что «апрельские ветры» для аппарата — это «вихри враждебные», как возвестил трубный глас оркестра на гидасповском митинге в Ленинграде. Благо потом, наблюдая митинги Ленинградского народного фронта или блока «Демократическая Россия», мы увидели, какие «темные силы» их, аппаратчиков, «злобно гнетут». Посветлело.

«Аппаратчик», хочу повторить, не монстр, не особый психологический тип. Каждый из «аппаратчиков» как частное лицо, гражданин может быть и либералом, и демократом. Но аппарат — это организм, который упрямо и как бы даже помимо воли будет воспроизводить условия, его некогда породившие и жизненно необходимые для него. Он останется сталинистским по самому своему генотипу, препятствующим избранному пути развития общества.

Иными словами, партия не сможет выйти из кризиса, стать партией гуманного и демократического социализма, не перестроившись радикально, не став «парламентской» партией: свободной ассоциацией свободных людей, объединенных сходством социальных воззрений. поддерживающих те или иные программы общественного развития и их выразителей.

Я не верю, когда нас убеждают, будто люди, выступающие за отказ от модели партии-государства, замышляют ослабить партию и устранить ее из политической жизни страны вообще. Интересно: почему не погибают ни американские демократы с республиканцами, ни западноевропейские партии, не имеющие — за исключением разве только неофашистов — жесткой организационной структуры и многочисленного иерархически выстроенного профессионального аппарата? Почему парткомы Москвы или Ленинграда не смогли обеспечить победу своим кандидатам в Советы, потерпев поражение от практически безаппаратных, самодеятельных движений?

Боюсь, что радетели «сильной» партии пекутся не о партии, а о чем-то ином, просчитав, что в подлинно демократической партии на лидерство им надеяться трудно, а так, если не рушить традиции, маховик еще немного покрутится, конформистов на их век хватит, а когда слепцы обнаружат, что поводыри опять подвели их под монастырь, то спросить уже будет не с кого: монастырь окажется Новодевичьим... Боюсь, это классический случай, когда мертвые хватают живых.

Если партия не преобразится, не перестанет быть партией «нового типа» девяностолетней давности, то ее грядущую эволюцию немудрено, следуя логике вещей, предсказать. Идеологи, призывающие «сплотиться на принципиальной основе», отвергнув экстремистские крайности (хотя, что крайне симптоматично, отсекают только одну, либерально-демократическую, по нынешней терминологии «левую»; никто из «правых» покуда не отлучен), выступают вроде бы с центристских позиций, ищут опору в «золотой середине». Думаю — не найдут.

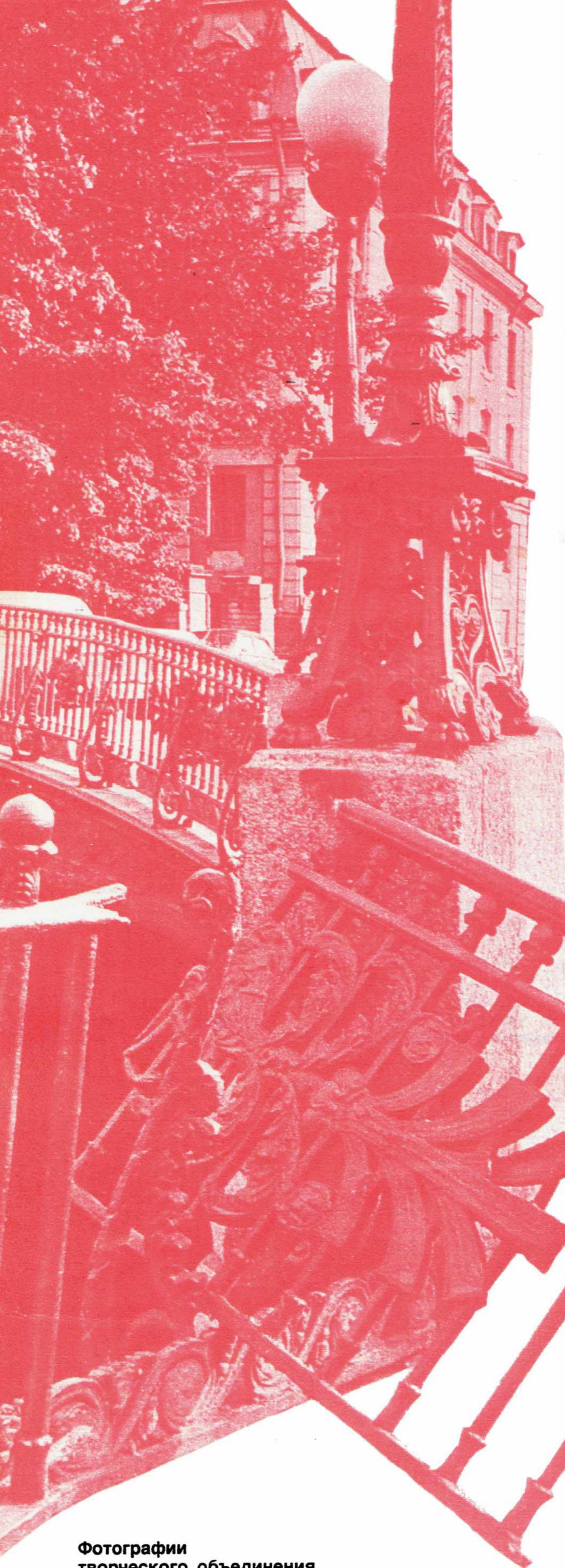
Дело в том, что «центристы» — это, если не в большинстве, то в значительной своей части приспособленцы, «болото». По мере развития рыночных отношений, то есть деидеологизации экономики, благоразумно выждав и убедившись, что партия перестает быть суперагентством, страхующим преимущества плательщиков взносов, они переориентируются на приобретение более выгодных и надежных акций. Партия очистится? Да, отчасти. Но усыхающее «болото» обнажит две противоположные силы, сосуществующие ныне в КПСС: сталинистов, обретших за последние годы более выраженную популистскую и националистическую окраску, и социал-демократов, отстаивающих гуманный (то есть исходящий из принципа приоритета личности, а не нации или класса) социализм.

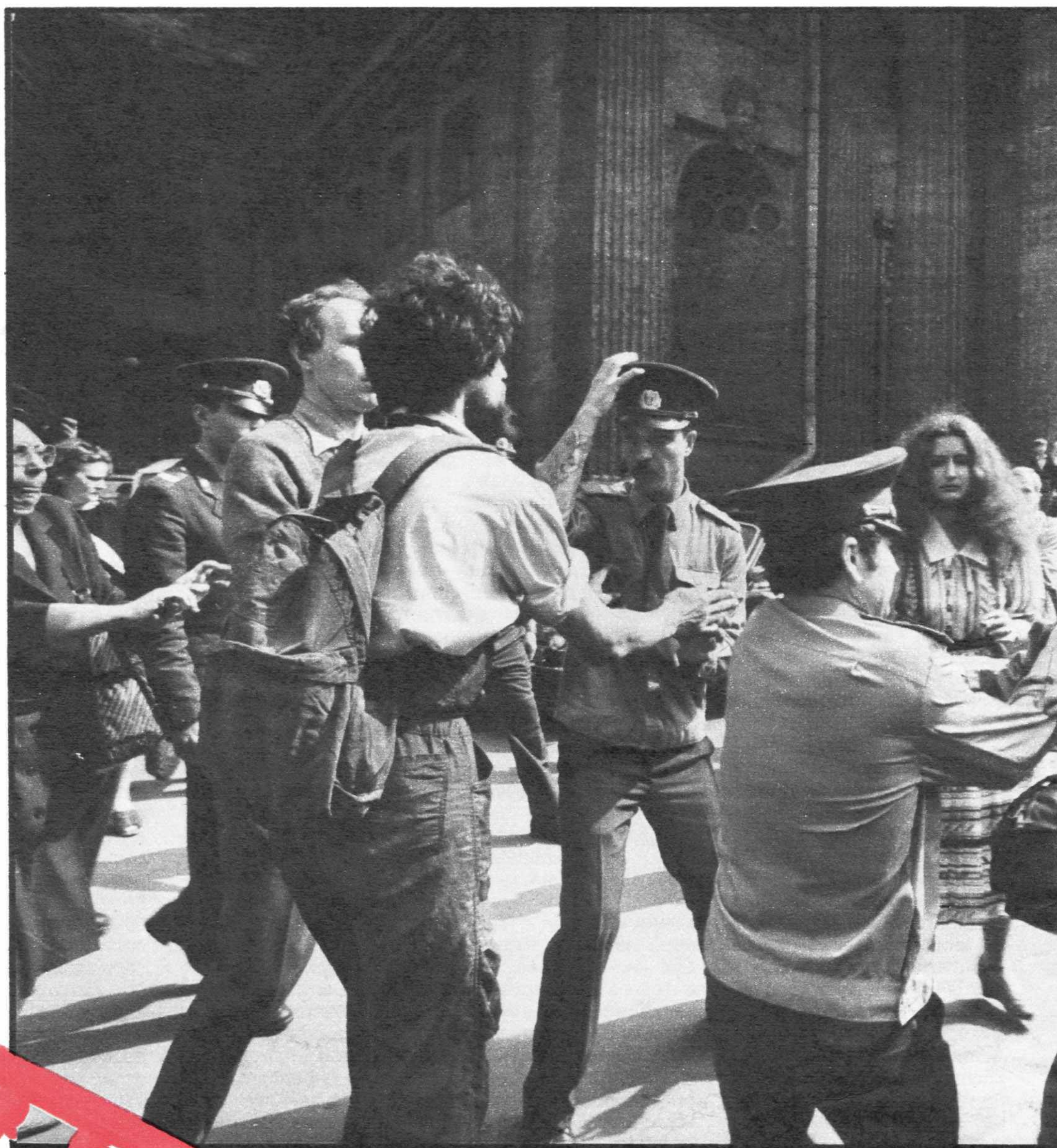
На какой принципиальной основе можно объединить эти силы — не очень ясно: объединение их, например, членов КПСС — литераторов, подписавших нацистское «письмо 74-х», и членов КПСС — «апрелевцев», по определению, может быть лишь беспринципным и изолирующим партию от общедемократического движения. Но достаточно ясно, к какому из флангов будет тяготеть аппарат, хотя бы уже потому, что демократическим силам нужны не столько руководящие, сколько печатные органы, не столько парткомитеты, сколько партклубы, редакции и т. д.— центры, где вырабатываются идеи, а не инструкции.

Думаю, я не одинок в своих не слишком оптимистичных прогнозах. Вспомним, как это ни горько каждому, прожившему в партии много лет и старавшемуся прожить их достойно, мудрую речь академика Д. С. Лихачева на III Съезде народных депутатов СССР. Академик сказал, что, если М. С. Горбачев, прислушавшись к требованиям некоторых горячих голов, оставит, становясь Президентом, высший партийный пост, это может быть чревато бедой. Едва ли кто-нибудь заподозрил беспартийного академика в заботе о престиже КПСС, и грустно было осознавать, сколь прав Дмитрий Сергеевич в своей тревоге о том, что КПСС, выйдя из-под контроля лидера, получившего мандат от депутатов народа, может стать оплотом людей, которых мы видели, например, на ленинградском слете учредителей РКП.

Если к этому и пойдет, то у приверженцев перестройки действительно не останется никакого выхода, кроме выхода. А на съезде или несколько позже и в какой именно форме это произойдет — вопрос важный, но не решающий.

По логике вещей — так оно скорее всего и будет. И все-таки очень хочется, чтобы хоть раз в нашей многострадальной истории сработала не логика вещей, не многовековая инерция, приведшая к Октябрю и крепостнической коллективизации, к застою и нынешнему распаду, с логически и кроваво вытекающим из него очередным брюмером, а логика, позволившая однажды сказать о необходимости коренной перемены всех наших воззрений на социализм. Логика, нарушавшая порядок вещей, но оказавшаяся тем не менее вещей.





Твой брат, Петрополь, умирает.
Осип Мандельштам.

«Ленинград разваливается на части»,— начал статью в «Вашингтон пост» директор Института русских исследований Клэйр Рабл, и ленинградский дайджест «24 часа» тут же ее перепечатал. Есть резоны.

Фотографии творческого объединения «Община художников» г. Ленинград

Дмитрий ГУБИН,
собственный корреспондент «Огонька»

ЛЕНИНГРАД: ПОВОРОТ В СУДЬБЕ

КРАХ

Нет, конечно, как и прежде, дробят качающийся на воде шпиль Михайловского замка утки; и узкий, как лезвие, ветер гонит вдоль Фонтанки старушку, что выгуливает своего ньюфаундленда; и воспитанный ньюфаундленд выгуливает свою старушку, косит глазом на голых богов в Летнем саду,— вся эта петербургская шаль, высокая декорация, не придумать которой лучше для мятущейся юности и юной любви, еще жива, но краски тускнеют на глазах, и осыпается позолота. И парочка, спешно заворачивающая в ближайшее парадное (стильный модерн или роскошествующее барокко), рискует получить по макушкам штукатуркой — вместо поцелуя.

Сотни старых петербургских домов мертвы, и даже реанимационно подводимые леса не сулят надежд за отсутствием реаниматоров. Великий город, в арках и перспективах которого навсегда врезаны столичные гонор и гордость, ночами невидяще таращится бельмами заколоченных окон под безжизненным и мертвым светом луны: фонари не горят, разбиты... Можно смело заключать пари, что не осталось в Ленинграде улицы с целыми домами, но не слишком рассчитывать на выигранную бутылку шампанского. Очереди в винные отделы бесконечны, и перед ними по асфальту чеканят шаг милиционеры, резиновые «демократизаторы» тикают маятниками в их руках.

Эх, лучше, право, не нагнетать, прохрипев иссеченным сарказмом горлом глиэровский гимн Великому городу, но болит голова, и ноет сердце, а в замыкающей блоковский ряд дежурной аптеке давно уже ни анальгина, ни корвалола, хоть вались сквозь землю от стыда или ужаса, который успешно заменяет стыд.

Впрочем, «сквозь землю» — тоже привязка, повод завершить социальный обход: жилье, здравоохранение, транспорт. Под землей катятся темные, как гробы, поезда метро. В вагонах зажжена едва ли половина ламп, и начальство через «Вечерний Ленинград» объясняет народу, что это от срыва электрических поставок, а народ, сплачиваясь на ремонтируемых эскалаторах пересадок, не верит: экономят. Чтобы на сэкономленное построить клинику для лечения глаз, которые непременно сломаешь от чтения «Вечерки» в такой темноте. Кстати, многие ленинградцы перестали придерживать — чтоб не хлоп-



нуло следом идущего — тяжелые стеклянные двери метро. И, что самое печальное, даже не заметили, что перестали. А такси собрались, судя по всему, дружным клином и еще по льду перешли Финский залив, в случайно же оставшихся машинах с шашечками счетчик не больше чем аксессуар.

Помимо такси, город покидают люди. Национальность — давно уже не причина отъезда, а метод. Бегут в Израиль, Штаты, Канаду, Францию, Великобританию, даже в ЮАР: раздобывают визы и поручительства родственников, женятся и покупают фиктивные браки. По данным социологического опроса «Общественное мнение», каждый пятый ленинградский школьник хотел бы эмигрировать из СССР. Остающиеся больше надеются на долларовую инъекцию западного туризма или на экономический опыт бывших сограждан, но «Англетер» перестал существовать, «Астория» и «Европейская» закрыты на ремонт, а зарубежные ленинградцы не строят иллюзий.

«Ты должен обязательно уехать отсюда,— убеждает меня Vladik Gladilen, когда-то 16-летним подростком выехавший с матерью в Канаду,— здесь стало в сто раз хуже».— «Ну, если Сайрус Итон, как обещал, вложит миллиарды в культурный центр в Лахте, в восстановление улиц и электронику...» — «У меня есть информация, что он не вложит ничего. Серьезные предприниматели сворачивают дела с вами, вы становитесь непредсказуемы...» Когда-то учительница 392-й ленинградской спецшколы, прививавшая любовь к великому и могучему французскому языку, обещала Владику, что он непременно станет фарцовщиком. И угадала: г-н Gladilen, окончив университет в Торонто, координирует строительство крупнейшего в Северной Америке частного аэропорта и хрестоматийно впадает в отчаяние при виде того, что делается дома: «Все люди стали злы и отчаянны».

Кто довел их до этого отчаяния?

«Час пик», невероятно популярная газета ленинградского Союза журналистов, привела цифры: 85,7% от одиннадцатимиллиардного чистого дохода Ленинграда забирает Москва. 452 миллиона возвращая затем в виде «дотации». Ленинград, таким образом,— типичный областной дотационный город. Однако гибнет он не столько (или по крайней мере не только) от недостатка средств.

Великий город на Неве отличен от прочих русских городов. Он не рос своевольно, а возводился как столица согласно плану и воле Петра. Идея столичности подчинила себе идею людского поселения, отсюда и вечная призрачность Петербурга, декоративность и ненастоящесть («он лжет во всякое время») его дивных европейских фасадов, прочно вошедшая в контекст отечественной культуры и даже создавшая его. Когда в 1918-м столицу вынули из города, как сердце, Мандельштам, раньше других почувствовав наступившую смерть, написал о траве на петербургских улицах как о побеге грядущего леса, что покроет город. И прозвучавшее шесть лет спустя «Ленинград» было не столько новым именем, сколько точным диагнозом. Лишенный сердца, город неминуемо должен был начать умирать, разваливаться, разрушаться.

Потому что без царской заботы царский дворец осыпает фризы и портики, а бывшая челядь тайком разворовывает и продает за границу картины.

И без столичных торговцев зеркальные витрины зарастают вывесками контор.

И порча нападает на храм, если в нем устраивают музей атеизма или бассейн.

И декорации петербургской оперы ветшают, когда она семидесятый сезон поется с провинциальной сцены...

БУНТ

Традиционным проявлением исторической, не до конца отбитой памяти стала ленинградская фронда, противостояние центру, заметное еще со времен зиновьевской оппозиции. Не случайно Ленинград дал старт новой волне советского рока — этому специфическому всплеску городской культуры, наиболее точно передающему настроение ручки-в-брючки и сами-с-усами.

Впрочем, фронда по корням глубже позы: она, помимо смутного ощущения вдовьей порфироносности, подпитывается тремя существенными социальными факторами — относительно тонким слоем чиновничества, большим числом высококвалифицированных специалистов и мощным информационным облучением. Боль за гибнущий город из биологического ощущения переросла в политическое и, находись Ленинград с Москвой в разных республиках,— быть ему центром национального движения, перерастающего рамки движения за свободу.

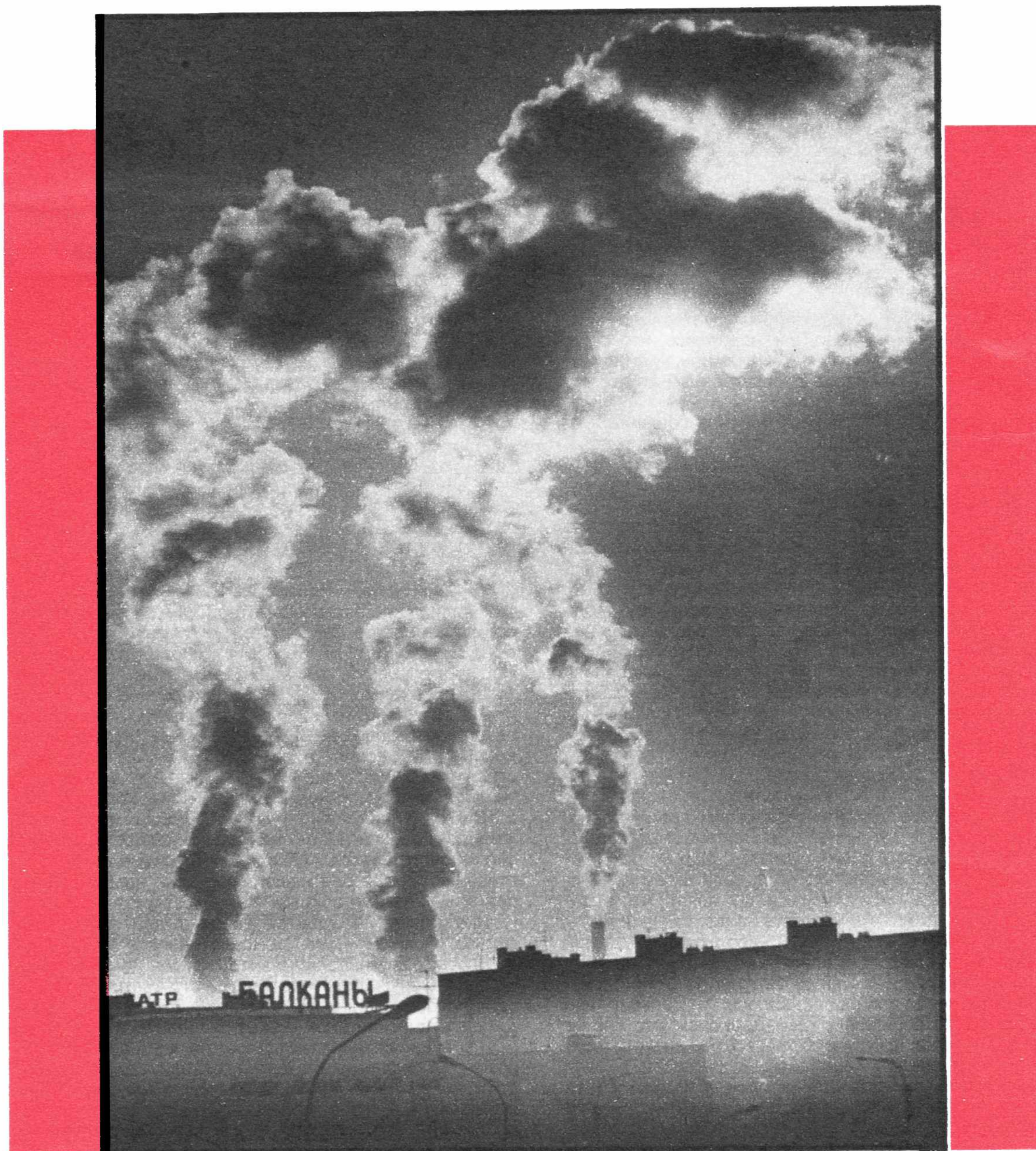
«Город нерешенных проблем достанется в наследство новому мэру от В. Я. Ходырева» — дал шапкой по первой полосе «Час пик».

«Мы город сдаем в полном порядке»,— откликнулся в телепрограмме «Монитор» Владимир Ходырев. Бывают, видимо, такие этапы в поведении власти, когда она искренне путает небо с овчинкой и поливает себя керосином на пожаре.

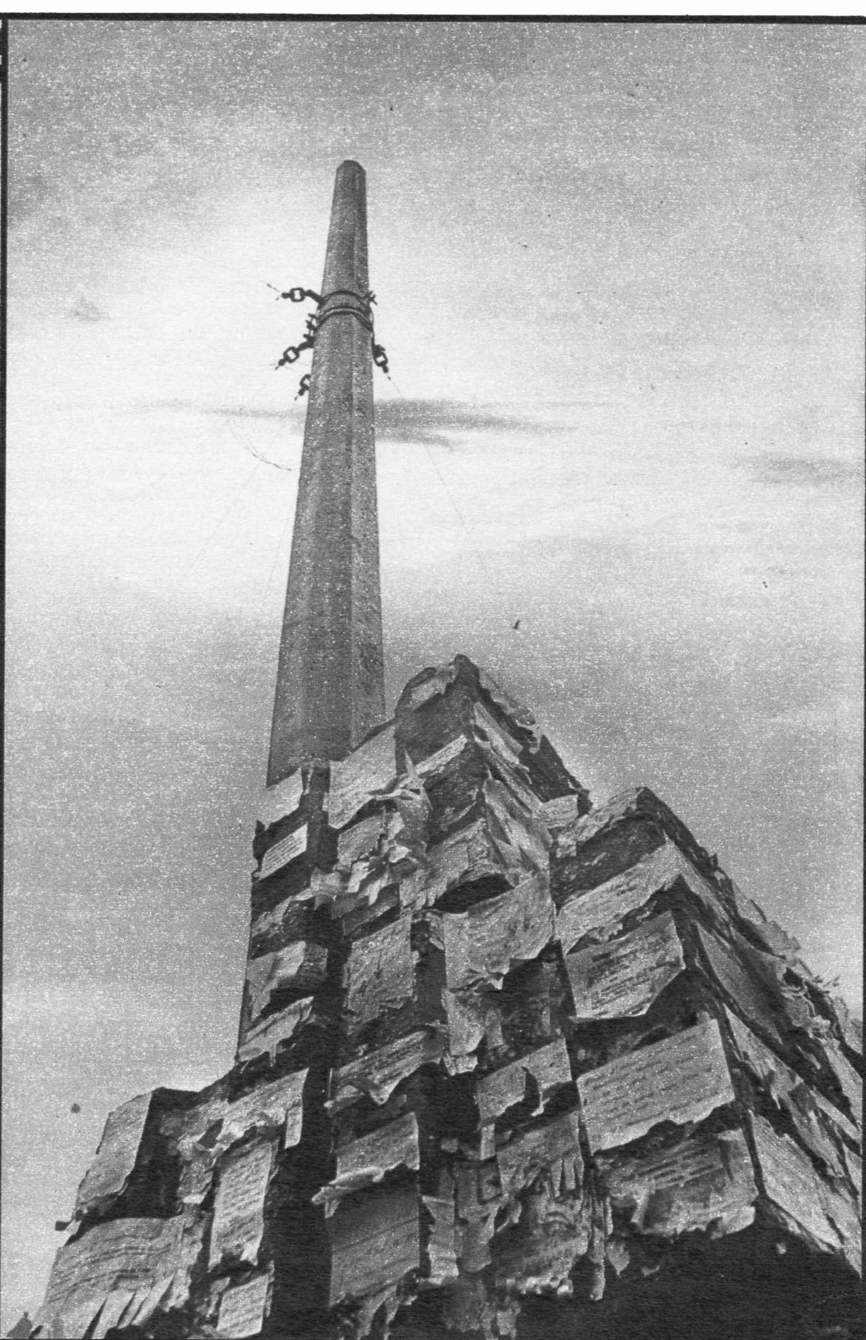
Ленинградская фронда, за пару лет переплавляющая не умеющего ходить по улицам провинциала в примерного патриота (в чем, кстати, ее отличие от фронды московской или, скажем, одесского понта), кипящей лавой рванула бы верхушку вулкана, породив вторую Староместскую площадь (или вторую Тяньаньмэнь), если бы не нашла выход в выборах нового Ленсовета: две трети мест в нем занял левый блок «Демократические выборы-90». Пропорция определила трагифарсовость будней, и городскому прокурору Дмитрию Веревкину, с ведома которого полтора года назад ленинградское УКГБ* возбуждало последнее в стране дело об антисоветчине, проводя обыски на квартирах у «Демократического союза», теперь приходится считаться не только с отменой статьи 70 УК РСФСР или митингами на Дворцовой, но и с депутатством былого обыскиваемого Юлия Рыбакова, который, кстати, возглавил комиссию Ленсовета по правам человека.

Правда, трагифарс своим существованием намекает и на то, что приход к власти демократов еще не отменял борьбы, но ограничивал ее масштаб и изменял направленность. Прорыв теперь мог случиться лишь как выхлоп раздражения центральной властью.

И он случился в начале апреля, сдетонировав от запрета Гостелерадио на трансляцию «Пятого колеса» с прямым эфиром Николая Иванова. Это были дни накануне слушаний в Верховном Совете, и город поигрывал мускулами митингов, передавая слух о возможной политической — и всеобщей — забастовке. «Ожидание скандальных разоблачений рас-







качивало страну, и хотя в отснятом материале ничего скандального не было, мы надеялись, что эфир приглушит страсти. Запрет их накалил»,— объяснит потом логику трагифарса ответственный секретарь «Колеса» Наталья Ичанская.

6 апреля сессия Ленсовета приняла решение предоставить Иванову эфир и послала с тем на телевидение депутатов: на свое телевидение своих представителей. Зрители не знали этого, подогревая вечерний чай под «Время» и «600 секунд», и ахнули, когда на последних секундах Невзоров уступил место в кадре опальному следователю, и охнули, когда еле успевшего открыть рот Иванова скрыла заставка с видом Петропавловской крепости, воспринятая многими как намек. Рванули к телецентру люди и взревели телефоны, застучал телеграф и свернула с Кировского проспекта дежурная «помогайка», но работники телецентра уже готовили дикторский текст, операторов, телекамеры, студию. Через малое время разными людьми, от собкора «Правды» до высоких чиновников, это будет названо «захватом».

Хотя это был очень странный захват.

«Они не прорывались сквозь охрану и в центральную аппаратную к эфирному пульту. Они пришли как власть и, как власть, вели себя целомудренно и прилично,— скажет затем Невзоров, в репортажах которого слово «целомудрие», кажется, еще не встречалось.— Они были властью, но ходили в растерянности перед закрытыми студиями, и я понял, что единственная возможность настоять на эфире Иванова — это уступить ему мое место. Я небольшой поклонник Иванова или советской власти, но дело уже в принципе, и коль скоро в городе 72 года не было советской власти, а теперь появилась, я должен был выполнять ее решения». «Вы надеялись, что вас не прервут?» «Был шанс из тысячи, что просто растеряются. Но я сделал свое дело, и считаю 6 апреля днем своего гражданского рождения и днем бунта Питера, когда мы показали, что не хотим лишних хозяев, которые нас еще и держат впроголодь. Наш пример со временем поймут и другие города. Мы хотим быть вольным городом — и мы будем!»

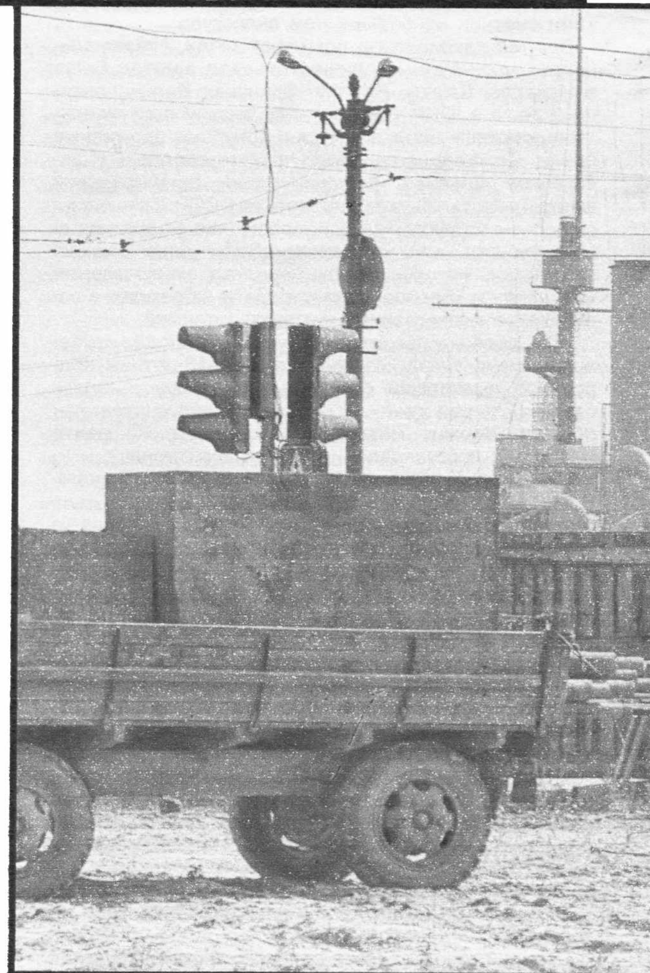
...В ночь с 6-го на 7 апреля перед телецентром невесть откуда взялись вымершие такси, спрашивали: «За Иванова?» — и всех «за» развозили по домам бесплатно. А поутру ленинградской прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РСФСР о самоуправстве. Дмитрий Веревкин, похоже, всерьез намерен доказать тождество уголовного самоуправства и городского самоуправления.

Пожелаем ему успехов в труде.

ПРОГНОЗ

«В Ленинграде — двоевластие?» — вопрос к Петру Филиппову, весьма заметной фигуре на шахматной доске нового Ленсовета, где первыми ходят левые. Ему 45 лет, он экономист и один из лидеров Народного фронта, седина бьет ему в бороду, а политический, видимо, бес — в ребро, и по типу и виду он для нового Ленсовета характерен. Бушующая сессия, разогревом доводящая Большой зал Мариинского дворца до подобия то ли бани, то ли биржи,— его стихия. «У меня ощущение, что о демократии депутаты думают больше, чем о городе,— вы, как депутат, с этим согласны?» Филиппов — быть может, самый жесткий политик левого центра, но насчет расклада сил не обольщается: «Междувластие. Ни один хозяйственник города без нашего согласия не будет выполнять указания обкома. Но министерств — будет. И мне никак не удается убедить депутатов, что сейчас главное — не демократичность процедур, а действующий исполком, которому мы должны дать и власть, и свободу. Но иногда я чувствую перед своим лбом резиновую стену». «Это правда, что демократический блок может расколоться?» — «Мы едины в целях: многоукладность, многопартийность, рыночная экономика. Но вот сталкиваемся с простейшим вопросом — как, скажем, относиться к плохому закону — и расходимся резко в тактике, причем по смыслу это уже стратегические расхождения».

Власть действительно уходит из Смольного, как

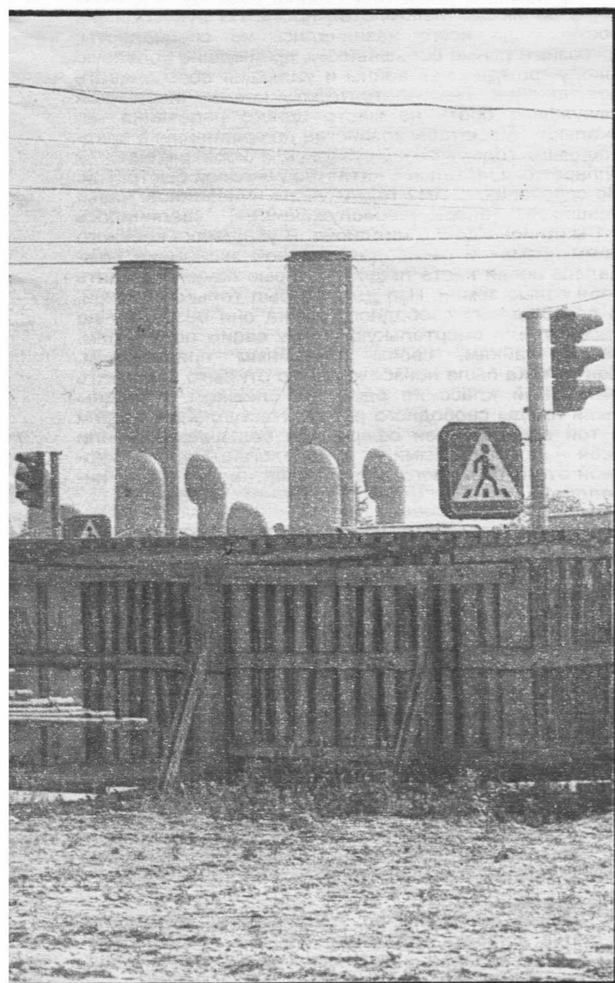


когда-то ушли из него благородные девицы. 61,5% ленинградцев и 60% коммунистов не считают необходимым, чтобы она (в отличие от девиц) туда возвращалась. «В колыбели трех революций, похоже, ни разу не меняли пеленок»— можно принять и это объяснение, данное когда-то Виктором Конецким. Недостаток поддержки обком компенсирует союзниками из рвущегося к диктатуре ОФТ и патриотов-почвенников. Новый блок достаточно ярко заявил о себе на прошедшем параллельно сессии Ленсовета учредительном съезде Российской компартии, задним числом проясняя, отчего вызревают увесистые ягодки «Памяти» на вроде бы неподходящей для этого, еще с петровских времен интернациональной почве. Если союз окажется достаточно крепок, но недостаточно хорошо замаскирован, ленинградских коммунистов, во множестве разделяющих «Демократическую платформу», в самом скором времени ждет раскол. Если не упускать из виду и перспективу раскола левого блока, то мы вполне сможем увидеть три силы, действующие в местной революции: правых марксистов, социал-демократов центра и левых радикалов. По данным социологов, 6,4% ленинградцев считают, что в будущем будет популярна КПСС на Платформе ЦК; 13,2% — КПСС на демплатформе; 23,4% — другие общедемократические движения.

Правда, половина опрошенных от прогноза воздержалась, и ход событий может совпасть с любым итогом умозрительного пасьянса из тех, что ежедневно в хорошую погоду раскладывается где-нибудь в скверике на Пушкинской улице, куда к ногам Александра Сергеевича слетаются голуби и вышедшие на пенсию пикейные жилеты. Жилеты кормят голубей и умиротворяются, отовариваясь в ветеранских магазинах. Впрочем, «визитные карточки» не слишком привились в Ленинграде, и пачку сигарет и полкило колбасы, когда они есть, можно купить, не разворачивая серпастый, молоткастый на прописочной странице...

Леонид Кесельман, руководитель Центра изучения и прогнозирования социальных процессов, считает: «В ситуации перехода, когда власть от уже недействующих структур переходит к еще недействующим, события определяются не персоналиями, а настроением населения, его готовностью принять или не принять различные формы жизни. И какие бы политические амбиции сегодня ни бушевали, депутаты того же Ленсовета не смогут выйти из пределов коридора естественных интересов города. Потому что в этом коридоре чуть об стеночку — и сразу отовсюду зазвенит».

И, если Кесельман методологически прав, следует признать, что город ждет перемен, основанных не столько на политическом, сколько на здравом смысле, отливающемся все яснее в идею свободной экономической зоны. Возможно, именно здравый экономический смысл сможет переплавить конфронтацию в координацию, подобно тому, как фасад любого петербургского проспекта умиротворяет своей безразрывностью непримиримую разноголосицу стилей.



Этим, кстати, устройство равнинного Ленинграда отличается от устройств других русских городов — с холмами, раскиданной внизу слободой, для удовлетворения требований которой остается только вскарабкаться на холм и взять штурмом кремль.

УРОК

В ленинградской обыденной музыке «Петербург» — хорошо различимая нота, будь то упрямое «Питер» в уголовных репортажах Невзорова или спокойное Петра Филиппова: «Город экономически готов стать Петербургом, хотя политически еще не готов».

Распровинциальнивание — это пока еще новость, вид курьеза для наших городов.

Перекрещенные по улицам именами основоположников и пламенных революционеров, наши города не просто отреклись от старого мира, но и периферийно унифицировались. Догадка о существовании городской души и сердца, вкупе с хорошим телевидением и двумя-тремя профессиональными газетами — вот что дала городу на Неве пятилетняя перестройка, но это не так и мало.

Да, город разваливается, и опасно нависли над Невским аварийные балконы, и разобраны до ребер мосты Конюшенной площади, и ленинградские дворники, оседлав свои метлы, улетели с улиц, и отданы под кегельбаны — покати шаром — магазины, но все же, пусть не нов образ, затеплилась надеждой лампада у образов Владимирского собора. И в радиусе ближайшего километра, от Пантелеймоновской до Пяти углов, сохранился еще в булочных и кафе за лязгающими кассами пяток-другой старушек со светлыми лицами, кукующих деньденьской: «Кофэ? Будьте любезны. Прошу простить. Пожалуйста. Будьте здоровы» — раскладывающих петербургский мир по полочкам старомодной вежливости, родственной безукоризненной юридической точности председателя Ленсовета Анатолия Собчака.

А светлы их лики от постоянного пользования невской водой, в былые годы мягкой и нежной.

Возможно, у нас в городе снова станут светлоликими люди.

ИЗ ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОСТИ

ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ

Вячеслав КОСТИКОВ

...Тюремщик уже несколько раз напоминал о чаше. Омовение было совершено, друзьям сказано последнее прости. Когда принесли кубок с цикутой, Сократ поклонился близким, звездам, проступившим на палевом небе, и медленно выпил чашу с ядом.

...Прежде в Афинах приговоренных к смерти сбрасывали со скалы. Но со временем, по мере того как цивилизация смягчала нравы, в обиход были введены иные, более гуманные способы наказания. Одного из учителей Сократа, греческого философа Анаксагора, правители Афин изгнали из города, вменив ему в вину, как и Сократу, растление молодежи неподобающими мудрствованиями. Случилось это в V веке до нашей эры.

С тех пор прошло почти 25 веков. Минуло средневековье с печально знаменитыми аутодафе, испепелившими в Испании 36 тысяч человек. Как память тех лет хранится в европейских библиотеках изуверский труд «Молот ведьм», служивший инструкцией для судилищ над инакомыслящими. Казалось, что время костров навсегда кануло в Лету. Но вот пришел жестокий XX век. Век идеологии. И теперь уже под небом России застучал «молот ведьм», расплющивая идеологических еретиков.

ТЕНИ МИНУВШЕГО

...Осенью 1922 года из Советской России была выслана большая группа философов. История этой групповой высылки у нас почти неизвестна, хотя уже в то время официальная версия о том, что высылаемые были пособниками Антанты, «растлителями молодежи» (помните обвинение против Сократа?), вызывала сомнения. Сегодня же это и вовсе выглядит бредом, облеченным в пропагандистскую обертку. Что же в действительности соблазнило разумных, облеченных высшей властью людей на этот малообъяснимый с точки зрения нынешнего дня шаг?

Ответить на этот вопрос, не вникнув в сложную политическую анатомию того года, едва ли представляется возможным. Итак, год 1922-й...

Год 1922-й сулил радужные надежды. Тем более что после кровавых, холодных, бездушных лет «военного коммунизма» для воспарения души многого и не требовалось. Голод 1921 года, унесший пять с лишним миллионов жизней, приучил довольствоваться самым малым: ломоть хлеба, несколько поленьев дров, жбанчик керосина... В этом же 1922 году приспущенная с идеологического поводка свобода торговли уже насытила российские рынки снедью, оживила обезлюдевшие города. В подвальных трактирчиках на Сретенке, на Мясницкой, на Рождественке, в улочках, льнущих к Охотному ряду, снова замерцали огни, замелькали тени, и по вечерам из раскрытых форточек вместе с густым извозчичьим духом выносились ожившие трели трехрядки. Гражданская война, приняв «социальный выкуп» в 13 миллионов душ, откатилась. Россия снова училась жить по часам гражданского мира.

И было в электричестве тех лет нечто такое, что заставляло людей надеяться и мечтать. И этим «нечто» была живая вера в то, что все лишения, кровь, насилие, распад жизни и человеческих отношений — временные, что все это лишь трагический переход от одного состояния общества к другому, от прошлого к светлому будущему. Ощущения интеллигенции тех лет хорошо передает Михаил Осоргин в книге воспоминаний «Времена»:

«От революции пострадав, революции не проклинали и о ней не жалели; мало было людей, которые мечтали бы о возврате прежнего. Вызывали ненависть новые властители, но не дело, которому они взялись служить и которое оказалось им не по плечу,— дело обновления России. В них видели переродившихся старых деспотов, врагов свободы, способных только искажать и тормозить огромную работу, которая могла бы быть — так нам казалось — дружной, плодотворной и радостной. Смотря вперед, верили или хотели верить, что все это выправится, и потому так мечтали о прекращении гражданской бойни, мешавшей успокоению и питавшей террор...»

Год 1922-й обещал быть едва ли не самым плодотворным в интеллектуальной жизни Советской России. Не отменяя декрета 1917 года о запрещении оппозиционных газет, о вводе драконовской цензуры, большевики де-факто позволили некоторое послабление для жизни духа. В основе этого послабления лежала уверенность в силе.

Москва забурлила лекциями, кружками, клубами. Центром возрождающейся интеллектуальной жизни становится Московский университет. В Богословской (ныне Коммунистической) аудитории кипят споры. Молодежь, прошедшая через окопы гражданской войны, яростно потянулась к культуре и валом валит слушать Н. А. Бердяева, Ф. Степуна, М. Осоргина. Атеисты пробуют силы в открытых диспутах с религиозными философами и монахами. Один за другим возрождаются альманахи, журналы. В 1922 году только в Москве официально зарегистрировано 143 частных издательства. Широкое распространение получают кооперативные издательства, товарищества поэтов, художников, литераторов. Существуют несколько независимых союзов писателей. Возобновляются и многие дореволюционные журналы. Официально выходят «Былое», «Голос минувшего», «Право и жизнь». Журналы и издательства становятся центром притяжения для интеллигенции, которая, казалось, была окончательно вытеснена из общественной жизни. В новой общественной атмосфере, созданной нэпом, несмотря на огромные потери, активизируется жизнь Академии наук. В Москве работает созданная Н. Бердяевым Вольная Академия духовной культуры. Собственного помещения у нее не было, и лекции, курсы, семинары устраивались то в помещении Высших женских курсов, то в советских учреждениях, где в руководстве было в то время еще много интеллигенции. Одно время Н. Бердяев читал лекции даже в помещении Центроспирта. Академия была официально зарегистрирована в Московском Совете.

В эту короткую оттепель 1922 года вышел и альманах «Шиповник».

Статья Н. Бердяева «Воля к культуре и воля к жизни», появившаяся в нем, была искренней попыткой русской интеллигенции осмыслить свое место в революции, найти ключ от измененного до неузнаваемости дома.

Авторами альманаха выступили В. Ходасевич, Ф. Сологуб, М. Кузмин, А. Ахматова, Б. Зайцев, Л. Леонов, Б. Пастернак, Ф. Степун, А. Эфрос, С. Вольский, Б. Вышеславцев, Г. Чулков.

Передавая составителю альманаха Федору Степуну свои рукописи, никто из них не мог предположить, что надежды на гражданский мир так быстро будут разбиты, что совсем скоро одни из них окажутся в изгнании, за границей, а другие будут обречены на жизнь в быстро сгущающихся сумерках свободы. Никто из них не знал еще, что первый номер «Шиповника» окажется и последним.

ВЫ ПОВИННЫ!

Год 1922-й даже нам, смотрящим на него с расстояния шестидесяти с лишним лет, кажется во многих отношениях странным годом, годом парадоксов. Похоже, что российская судьба еще не сделала своего окончательного выбора и кружится, и мечется под ветром истории. Большевистская Россия, вышедшая из страшного чистилища гражданской войны, «кровью умытая», точно бы колеблется относительно своего выбора: вернуться ли в привычный мир европейских отношений со всеми вытекающими отсюда последствиями — поисками компромиссов, допуском политического плюрализма, свободным рынком, свободной игрой экономики и политики, или отгородиться от Европы железным занавесом, надеть гремящие идеологические латы, замкнуться в одиночестве классового превосходства.

Политическая гибкость Советской России в этот период питает и надежды русской эмиграции на примирение. Волны нэпа, дошедшие до эмиграции, вызывают ответную волну «сменовеховства» и возвращения на родину. Эмиграция хотела поверить и поверила, что идея национального примирения, отлитая в форму нэпа, это действительно «всерьез и надолго». На родину возвращается более 120 тысяч беженцев.

В этом отношении весьма характерна эволюция писателя И. С. Соколова-Микитова. В июле 1921 года, когда эмиграция еще не осознала новизны экономической политики, писатель публикует в берлинской эмигрантской газете «Руль» свой знаменитый памфлет «Вы повинны», обвиняя большевиков в беспримерной по масштабам национальной катастрофе:

«...Вы повинны в том, что довели народ до последней степени истощения и упадка духа.

Вы повинны в том, что истребили в народе чувство единения и общности, отравили людей ненавистью и нетерпимостью к ближнему. И от кого ожидаете помощи, если вы не научили людей смотреть друг на друга, как на врага и радоваться чужому страданью».

В эмигрантской среде И. С. Соколов-Микитов числился в стане «непримиримых», и его неожиданный отъезд в «совдепию» в августе 1922 года поразил многих. «Неужели Микитов сбрендил? Невероятно!» — восклицает Зинаида Гиппиус. А между тем в возвращении известного писателя была своя логика, логика национального единения, которая лежала в политической основе нэпа.

Увы!

Чутко уловив конструктивный заряд нэпа, увлекшись им, писатель вскоре по возвращении улавливает и диссонансы новой политики. В письме из России в Берлин своему другу и издателю журнала «Новая русская книга» профессору А. С. Ященко уже два месяца спустя звучат ноты горького отрезвления:

«...сгоряча я многого не разглядел,— многое мне показалось не того цвету. Теперь я, кажется, знаю всех и видел все. И вот знаю, есть в России две породы людей — те, что помнят, и те, которым помнить нечего. И этот раздел, разделивший Россию, виден в лицах и в слове... Почти все теперь сбиваются на «лакейский» стиль. Попадаются книги рассказов, написанные смердяковским слогом. Писали их не Смердяковы. Но это впадение в смердяковский тон — неспроста и кое-что значит».

Первые наблюдения писателя носят, казалось бы, чисто внешний характер: он улавливает нюансы общественной атмосферы, взаимоотношений людей, специфику новой литературной среды. Но все эти «мелочи» смердяковщины имели более глубокие корни.

Разрушение саморегулирующегося свободного рынка и предпринимательства, национализация земель, промышленности, торговли потребовали создания огромной армии бюрократии, во много крат более громоздкой, нежели администрация царская. Врожденным пороком этой новой казенной системы была вопиющая некомпетентность. На руководящие посты чаще всего назначались не специалисты, а «сознательные большевики», прошедшие кровавую школу гражданской войны и умеющие обеспечивать повиновение. Некомпетентность новых чиновников вынуждает брать на место одного работника нескольких. Масштабы хозяйства по сравнению с предвоенными годами резко сузились, а бюрократический аппарат разрастался с катастрофической быстротой. По сравнению с 1917 годом число чиновников, называвшихся теперь «совслужащими», увеличилось с 1 миллиона до 2,5 миллиона. В условиях «военного коммунизма» и распределительной экономики рождалась новая каста людей, которые начинали мнить себя солью земли. Нэп для них был только помехой. В возрождении свободного рынка они безошибочно рассмотрели смертельную угрозу своим портфелям, своим пайкам, своим партийным привилегиям. Контратака была неизбежной. Но открыто атаковать нэп новый класс не решался: слишком очевидны были плоды свободного рынка. Наступление повели в той единственной сфере, где большевики мнили себя непререкаемыми,— в идеологии. Первой жертвой этого скрытного наступления на нэп стала интеллигенция.

«ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНАЯ ГУМАННОСТЬ»

История высылки ведущих русских философов, историков, профессоров, социологов из большевистской России осенью 1922 года мало исследована не только у нас, но и за границей *. Эмигрантская мемуаристика дает об их отъезде и прибытии в Берлин лишь самые скупые сведения. Одна из причин такой скудости в том, что сами изгнанники по причинам малообъяснимым (можно предположить, нравственного свойства), по сути дела, не оставили свидетельств о перипетиях отъезда. Сказалось, вероятно, и то, что высылаемые надеялись на то, что высылка будет временной, и не хотели обострять своими откровениями отношений с Москвой.

Решение о высылке упало на их головы неожиданно. Никто не предполагал, что большевики пойдут на такую экстравагантную меру «идеологической ассе-

*** Ценные материалы по этому вопросу содержатся в статье историка М. Геллера «Первое предостережение — удар хлыстом», опубликованной в 1978 г. в эмигрантском журнале «Вестник РХД» № 127, Париж.**

низации», как групповое изгнание лучших умов России. Все это было тем более неожиданным, что условия нэпа, казалось, позволяли надеяться на более тесное сотрудничество Советской власти с интеллигенцией. Имелись и политические условия. Реальная оппозиция в лице меньшевиков и эсеров была разгромлена. Весной 1922 года среди меньшевиков были проведены массовые аресты. Часть из них была посажена в тюрьмы, часть сослана на Восток, часть выпущена за границу. Процесс над эсерами в июне — июле 1922 года завершил разгром и этой партии. В стране ликвидируются последние крохи оппозиции и воцаряется однопартийность, для которой несколькими годами спустя Сталин придумает софистскую формулу — «сложилась исторически». Формулой этой ничтоже сумняшеся нас потчуют до сих пор.

С точки зрения политической целесообразности высылка группы интеллигентов представляется необъяснимой. За высылаемыми профессорами и философами не стояло никакой политической партии, не были они и лидерами какого-либо движения. Отсутствие суда над изгоняемыми свидетельствует о том, что им невозможно было официально инкриминировать никакого противозаконного деяния, а тем более преступления. Философы изгонялись без суда, в административном порядке, простым решением ГПУ.

Представляет интерес разъяснение, которое Лев Троцкий дал 30 августа 1922 года американской журналистке Луизе Брайант, жене Джона Рида:

«Те элементы, которые мы высылаем и будем высылать, сами по себе политически ничтожны. Но они потенциальное оружие в руках наших возможных врагов. В случае новых военных осложнений, а они, несмотря на все наше миролюбие, не исключены — все эти наши непримиримые и неисправимые элементы окажутся военно-политическими агентами врага. И мы вынуждены будем расстрелять их по законам войны. Вот почему мы предпочли сейчас в спокойный период выслать их заблаговременно. И я выражаю надежду, что вы не откажетесь признать нашу предусмотрительную гуманность и возьмете на себя ее защиту перед общественным мнением».

Кто же был в той интеллектуальной «посылке», которую Советская власть отправила Западной Европе? Среди изгнанных находились ректор Московского университета профессор Новиков (зоолог), ректор Петербургского университета профессор Карсавин (философ), группа математиков во главе с деканом математического факультета МГУ профессором Стратоновым, экономисты — профессора Зворыкин, Бруцкус, Лодыженский, Прокопович; теоретики и практики кооперативного движения Изюмов, Кудрявцев, Булатов; историки — Кизиветтер, Флоровский, Мякотин, Боголепов; социолог Питирим Сорокин; философы Бердяев, Франк, Вышеславцев, Ильин, Трубецкой, о. С. Булгаков.

На Западе высылка породила длительный спор об иррациональной природе большевизма. Эмиграция, естественно, ликовала, ибо ее авторитет и вес были подкреплены крупнейшими именами. Были и весьма экстравагантные попытки оправдания. Один из идеологов «сменовеховства», Н. Устрялов, утверждал, например, что «в России происходит чисто животный процесс восстановления органических государственных тканей. И мозг страны не должен мешать этому процессу».

Высылка настолько поразила Запад своей кажущейся нелепостью, что не было сделано даже попытки логического осмысления этого хода конем.

А между тем логика была. Железная логика диктатуры. И суть ее состояла в том, что, захватив однажды власть методом насилия, ее невозможно удержать, не распространяя насилие на все сферы человеческих и государственных отношений. Эта логика диктовала свой порядок вещей и свою очередность действий. Прежде всего было срублено древо гласности. Декрет Совета Народных Комиссаров о печати, запретивший большинство буржуазных газет, был принят всего два дня спустя после Октябрьской революции. Большевики весьма пунктуально выполнили «обещание» В. И. Ленина: «Мы и раньше заявляли, что закроем буржуазные газеты, если возьмем власть в руки». В последующие годы были запрещены и партии; причем не только либеральные, кадетского толка, но и те, что принадлежали к семейству российской социал-демократии,— эсеровская и меньшевистская. К весне 1922 года в стране воцарилась, выражаясь словами Г. Зиновьева, «монополия легальности». В широких масштабах идет «чистка» меньшевиков и эсеров, недавних союзников и товарищей по борьбе с царизмом. Подводя итоги первого года нэпа, XII Всероссийская конференция РКП(б), проходившая в Москве 4—7 августа 1922 года, приняла резолюцию «Об антисоветских партиях и течениях», где все некогда существовавшие в России демократические партии, за исключением, разумеется, большевистской, объявляются «антисоветскими».

Характерно то, что с этого же времени, как только была устранена возможность критики со стороны оппозиции, появляется неодолимая тяга к созданию партийной верхушкой привилегированного «самоснабжения». Первый шаг к номенклатурному спецобеспечению был сделан уже в 1922 году, когда большевики сами для себя провели на XII партконференции резолюцию «О материальном положении активных партработников». В 1922 году к таким активистам, а в сущности, уже к номенклатуре, было отнесено 15 325 партийных функционеров. В § 4 резолюции уточнялось, что, кроме денежного вознаграждения по высшему разряду (с 12-го по 17-й разряд), «все указанные товарищи должны быть обеспечены в жилом отношении (через местные исполкомы), в отношении медицинской помощи (через Наркомздрав), в отношении воспитания и образования детей (через Наркомпрос). Соответствующие мероприятия должны быть проведены ЦК за счет партии». Иными словами, за счет взносов рядовых членов партии. Доклад по этому вопросу делал В. Молотов.

Молодая советская номенклатура, входившая во вкус номенклатурного снабжения, с особым энтузиазмом воспринимала логику неограниченной власти: вслед за уничтожением независимых партий нужно было уничтожить и то, что питало политический плюрализм,— независимость мысли. Мыслители и философы становятся «нежелательным элементом».

ХЛЫСТ ДИКТАТУРЫ

При всей кажущейся случайности подбора лиц для высылки в нем проглядывает определенный принцип. Высылали далеко не самых активных «антисоветчиков». Изгонялись те, которые, не прибегая к насилию, к открытой борьбе, тем не менее не желали отказываться от главного, что предопределяло принадлежность к «ордену русской интеллигенции»,— от права на независимое мнение, на инакомыслие.

«Правда» объясняла по этому поводу:

«Определенные слои буржуазной интеллигенции не примирились с советской властью... Важнейшей их цитаделью была высшая школа... Политиканствующие ученые-профессора на каждом шагу оказывали упорное сопротивление советской власти... Художественная литература, издаваемая в этих кругах, была также антисоветская. В области философии они проповедовали мистицизм и поповщину... Группа антисоветски настроенных врачей усердно фабриковала антисоветское мнение в своей среде... Контрреволюционные элементы из агрономов вели ту же работу в своей области... В кооперации ту же работу вели меньшевики и эсеровские элементы...»

Нетрудно заметить, что в коротком газетном пассаже тогдашняя «Правда» ставила к позорному столбу фактически всю русскую интеллигенцию. Врагами объявлялись врачи, философы, писатели, учителя, агрономы... Обращает на себя внимание особая острота нападок на интеллигенцию, работавшую в кооперации. В сущности, это был первый приступ аллергии нового строя к кооперации. В ее экономической независимости и эффективности класс номенклатуры безошибочно усмотрел своего конкурента. Травля и высылка кооператоров в 1922 году явилась как бы прелюдией для последовавшего в конце двадцатых годов полного разгрома кооперативного движения. Нынешние всплески антикооперативных настроений, активно подогреваемых бюрократией, питаются тем же политическим и материальным эгоизмом, теми же групповыми интересами, что и в 1922 году.

Тогда же начали отрабатывать столь широко вошедшие в нашу последующую жизнь демагогические ссылки на «одобрение трудящихся», на «народ требует», «народ не поймет».

«Принятые советской властью меры предосторожности,— писала «Правда» по поводу высылки,— будут, несомненно, с горячим сочувствием встречены со стороны русских рабочих и крестьян, которые с нетерпением ждут, когда наконец эти идеологические врангелевцы и колчаковцы будут выброшены с территории РСФСР».

Понятно, что «нетерпение» проявляли не крестьяне, ничего не имевшие против кооператоров и ученых-аграрников, а те самые номенклатурные активисты, которым независимая интеллигенция с ее кодексом чести была как бельмо в глазу.

Высылка, широко разрекламированная в советской печати, изначально была задумана как идеологическая, пропагандистская акция. «Политически ничтожных» профессоров высылали не для того, чтобы избавить страну от врагов, а для того, чтобы запугать основную массу русской интеллигенции, которая оставалась в России. Высылка 160 человек была, в сущности, ультиматумом коммунистической номенклатуры русской интеллигенции — либо отказ от независимого образа мысли, согласие на двоемыслие, либо уничтожение. В наиболее отчетливой форме этот ультиматум сформулирован в резолюции XII Всесоюзной конференции РКП(б).

«Вместе с тем нельзя отказаться и от применения репрессий не только по отношению к эсерам и меньшевикам, но и по отношению к политиканствующим верхушкам мнимо-беспартийной, буржуазно-демократической интеллигенции, которая в своих контрреволюционных целях злоупотребляет коренными интересами целых корпораций и для которых подлинные интересы науки, техники, педагогики, кооперации и т. д. являются только пустым словом, политическим прикрытием».

КТО ВИНОВАТ?

Вопрос о том, кто непосредственно был инициатором и организатором высылки, не прояснен до сих пор. Свидетельства на этот счет противоречивы. Сами изгнанники были уверены в том, что виновником их несчастья был Троцкий. Именно ему приписывали они авторство статьи «Диктатура, где твой хлыст», призывающей к карам. Часть высланных полагали, что за всем этим делом стоит «Лубянка», сконцентрировавшая за годы репрессий и террора огромную власть и все чаще влиявшая на принятие политических решений. Ставшие в последнее время достоянием гласности свидетельства показывают, например, какую незавидную роль сыграло это учреждение в разгоне «Помгола» — Всероссийского комитета помощи голодающим годом ранее, в 1921 году.

Но независимо от того, кто был прямым инициатором высылки, в более широком политическом контексте тех лет она, конечно же, не была случайностью. Она была следствием очень сложной идейной борьбы вокруг нэпа, результатом непонимания того (и в этом смысле нынешняя перестройка выгодно отличается от нэпа), что экономическое возрождение страны нельзя провести без политических реформ, без демократизации духовной жизни. В конечном счете восторжествовало противоположное мнение: что либерализация в сфере экономики, возрождение рынка должны сопровождаться более жестким идеологическим контролем. Результаты этой концепции хорошо известны: через несколько лет нэп был разгромлен.

Идея высылки зрела подспудно, постепенно выкристаллизовываясь из сложной политической ткани 1922 года.

Год 1922-й поставил чрезвычайно интересный, имеющий и сейчас принципиальное значение вопрос о взаимодействии экономики и демократии, свободы рынка и свободы духа, политики и морали. В этом отношении большой интерес представляют размышления известного русского философа Г. П. Федотова, тоже оказавшегося в изгнании. Его юность, как и юность многих русских философов, была связана с увлечением марксизмом. Одно время он даже примыкал к большевикам. Октябрьский переворот заставил его отрезвиться и резко осудить большевизм. В первые годы революции он еще пытается лояльно сотрудничать с новой властью и в 1920—1922 годах читает лекции из истории средних веков в Саратовском университете. В 1925 году он уезжает из Советской России. Г. П. Федотов — один из немногих русских историков и философов, которые исследовали взаимосвязь хозяйственной и духовной свободы. Одна из центральных идей его книги «Христианин и революция», вышедшей уже в эмиграции, состоит в том, что свободное предпринимательство в экономике немыслимо без духовной свободы.

В 1922 году большевики не уловили или не хотели уловить этой взаимосвязи. Свобода, гласность, плюрализм представлялись им абстракциями, мешавшими укреплению власти. Более того, всплеск духовной свободы, взлет творчества, которые дал нэп, начинают пугать большевистских лидеров. Уже через год лозунг о том, что нэп — это «всерьез и надолго», подвергается открытой ревизии в угоду идеологическому пуританизму. 27 марта 1922 года на XI съезде РКП(б) Ленин говорил в политическом отчете:

«Мы год отступали. Мы должны теперь сказать от имени партии: достаточно! Та цель, которая отступлением преследовалась, достигнута. Этот период кончается или кончился. Теперь цель выдвигается другая — перегруппировка сил».

Под «перегруппировкой сил», разъясняет нам академическая биография В. И. Ленина, выпущенная Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, понималась «подготовка наступления на частнохозяйственный капитал».

Фактически это было отступлением от первоначально задуманного плана, уступкой леворадикальному крылу партии. И далеко не случайным является то, что на следующий день после закрытия съезда, сказавшего нэпу «достаточно!», на пленуме ЦК РКП(б) Генеральным секретарем партии был избран Иосиф Сталин.

В марте этого же года В. И. Ленин пишет статью «О значении воинствующего материализма», в которой призывает вести систематическую, наступательную борьбу с буржуазной идеологией, с философской реакцией, со всеми видами идеализма и мистики. Делегаты собравшейся несколькими месяцами позже XII партконференции переводят язык теории в более жесткие, угрожающие формулы. В резолюции конференции ленинская идея «воинствующего материализма» уже звучит как призыв к новому витку гражданской войны и террора:

«Репрессии... диктуются революционной целесообразностью, когда дело идет о подавлении тех отживающих групп, которые пытаются захватить старые, отвоеванные у них пролетариатом, позиции».

В сущности, судьба «буржуазной интеллигенции», к которой причисляются все несогласные на единомыслие, была предрешена. Оставался открытым вопрос о мере пресечения. «Классический» расстрел или нечто иное, оригинальное?

С оглядкой на Западную Европу, травмированную недавним судом над эсерами, в отношении профессоров и философов решили избрать «гуманную меру» — высылку.

19 мая 1922 года В. И. Ленин пишет Ф. Дзержинскому секретное письмо:

«т. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции.

Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим. Прошу обсудить такие меры подготовки.

Собрать совещание Мессинга, Манцева и еще кое-кого в Москве.

Обязать членов Политбюро уделять 2—3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг, *проверяя* исполнение, *требуя письменных отзывов* и добиваясь присылки в Москву без проволочки всех некоммунистических изданий.

Добавить отзывы ряда литераторов-коммунистов (Стеклова, Ольминского, Скворцова, Бухарина и т. д.).

Собрать *систематические* сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей.

Поручить все это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ».

Подавая пример цензурной бдительности, Ленин сам просматривает ряд «подозрительных» с точки зрения идеологии книг и журналов. Ересь обнаруживается в сборнике «Освальд Шпенглер и закат Европы», и 5 марта Ленин в записке Н. П. Горбунову объявляет сборник «литературным прикрытием белогвардейской организации».

Не менее опасным представляется В. И. Ленину и питерский журнал «Экономист», издававшийся Русским техническим обществом. Прочитав в № 3 список сотрудников журнала, Ленин в том же письме сообщает Дзержинскому: «Это, я думаю, *почти все* — законнейшие кандидаты на высылку за границу.

Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить и излавливать постоянно и систематически высылать за границу.

Прошу показать это секретно, не размножая, членам *Политбюро, с возвратом Вам и мне*, и сообщить мне их отзывы и Ваше заключение».

ПУТЬ НА ЗАПАД

У нас нет сведений о том, кто вставил в список «растлителей учащейся молодежи» Николая Александровича Бердяева. Теперь, почти семьдесят лет спустя, это едва ли имеет значение. Значение имеет другое — нравственная позиция гонимых и гонителей. Ведь совсем недавно и те, и другие находились в том обширном лагере борцов с российским самодержавием, который было принято называть «русскими демократами». Что же размежевало их, что сделало одних подсудимыми, а других вершителями суда? Тогда, в 1922 году, окончательного ответа на этот вопрос еще не существовало. Спор еще продолжался.

Лето 1922 года Н. А. Бердяев проводил в Звенигородском уезде, в Барвихе. В одном из красивейших мест ближнего Подмосковья. Лето было грибным, щедрым. Все располагало к спокойному отдыху. Позади был кошмар голодного 1921 года, насильственные мобилизации московской профессуры на заготовку дров, на чистку улиц от снега, на расчистку железнодорожных путей от заносов. У Бердяева не было особых оснований обижаться на материальные условия. В числе немногих известнейших до революции людей он получил право на академический паек. Согласись он хранить молчание, его едва ли тронули бы до начала сталинских репрессий. Его еще охраняли былая близость с товарищем молодости Луначарским, близкое знакомство с Каменевым, его марксистское прошлое, его заслуги в борьбе с царизмом.

Н. А. Бердяев не призывал к свержению большевизма, он не входил ни в какую белогвардейскую организацию, не был связан с Антантой. Но, ощущая себя вольным русским философом, он не мог не говорить правды, не мог лгать. Неприятие советского двоемыслия — главная причина его изгнания. Вспоминая в эмиграции о своих взаимоотношениях с Советской властью, Бердяев писал: «Не могу сказать, что я подвергался особым гонениям...» В самом деле, его арестовывали «всего два раза». Один из допросов вел сам Ф. Э. Дзержинский. «В его внешности и манере было что-то мягкое, чувствовалась благовоспитанность и вежливость»,— будет вспоминать позднее Бердяев. Допрос проходил в форме беседы, почти идеологического диспута.

«Имейте в виду, что я считаю соответствующим моему достоинству мыслителя и писателя прямо высказать то, что я думаю»,— заявил Бердяев в начале допроса.

«...Я старался объяснить, по каким религиозным, философским, моральным основаниям я являюсь противником коммунизма, вместе с тем я настаивал, что я человек не политический».

В своей философской автобиографии «Самопознание» Н. А. Бердяев остановится на своих разногласиях с большевизмом более подробно. Этот духовный спор станет одной из центральных тем его творчества.

«Что я противопоставлял коммунизму?.. Я противопоставлял прежде всего принцип духовной свободы, для меня изначальный, абсолютный, который нельзя уступить ни за какие блага мира. Я противопоставлял также принцип личности как высшей ценности, ее независимость от общества и государства, от внешней среды... Это совсем не значит, что я антисоциалист. Я сторонник социализма, но мой социализм персоналистический, не авторитарный...»

В том далеком 1922 году такая трактовка социализма (очень близкая к концепции социализма времен перестройки) была совершенно неприемлема. Это воспринималось как бунт.

В приговоре, принятом без всякого судебного разбирательства, говорилось:

«По постановлению Государственного Политического Управления наиболее активные контрреволюционные элементы из среды профессоров, врачей, агрономов, литераторов высланы в северные губернии, часть за границу... Высылка активных контрреволюционных элементов из буржуазной интеллигенции является первым предостережением советской власти к этим слоям...»

Информация о высылке, опубликованная в «Правде» 31 августа 1922 года, так и называлась — «Первое предостережение».

Все высылаемые принуждены были подписать документ, согласно которому они подлежали расстрелу в случае возвращения в РСФСР. Были оговорены и материальные условия высылки, мелочные и унизительные. Высылаемым разрешалось взять с собой одно зимнее и одно летнее пальто, один костюм и по две штуки всякого белья, две денные рубашки, две ночные, две пары кальсон, две пары чулок.

Выезжали несколькими группами, одни поездом, другие пароходом. Группа, в которую входил Н. А. Бердяев, ехала поездом до Петрограда, а оттуда на стареньком немецком пароходике морем в Штеттин, затем в Берлин. В этой группе было вместе с членами семей 75 человек.

Вспоминая об отъезде, М. Осоргин в повести «Татьянин день», опубликованной в Берлине в 1923 году, писал с горькой иронией: немецкие пароходы привезли в Германию «единственный товар, который нынешнее русское правительство поставляет Европе обильно и бесплатно: хранителей культурных заветов России».

Негативные последствия изгнания начали сказываться на нравственной атмосфере общества практически немедленно: цель «первого предостережения» — запугать интеллигенцию — была достигнута. Один из высланных, Михаил Осоргин, вспоминает, как за несколько дней перед отъездом он пришел на заседание Всероссийского союза писателей, одним из основателей которого являлся. Пришел, чтобы попрощаться с товарищами по перу. С большинством собравшихся его связывали долгие дружеские отношения. Он приготовил небольшую прощальную речь. Но ответного слова не услышал. Все подавленно молчали. И только на улице к нему стали по одному подходить знакомые и говорить слова прощания. «И внезапно я догадываюсь,— пишет М. Осоргин,— что Союз уже достаточно напуган, что он уже не тот, и будущее его предрешено».

Увы, Михаил Осоргин не ошибся в предчувствиях: Союз писателей вскоре превратился в «министерство социалистического реализма», в один из приводных ремней власти. Неоднократно являл он миру свое новое лицо: и когда участвовал в травле Е. Замятина, и когда обрекал на безгласие М. Булгакова, и позднее, когда по указке идеологических жрецов самозабвенно и трусливо участвовал в хуле А. Ахматовой, М. Зощенко, Б. Пастернака. И была бесконечная и стыдная череда этих «потом»...

В ИЗГНАНИИ

Путь изгнанных из России на Запад не был усыпан розами, хотя они и не претерпели тех бедствий и лишений, которые выпали на долю сотен тысяч эмигрантов, не имевших столь громких имен. Их драма была в другом. Россия конца XIX — начала XX века, во многом отставая экономически от капиталистической Европы, являлась одним из центров мировой культуры и мысли. Престиж русской культуры, русской нравственной проповеди был необыкновенно велик, отчасти благодаря всемирному сиянию русской классики. Большинство выехавших историков, философов, профессоров в той или иной степени были духовными детьми и преемниками Толстого, Достоевского, Чехова, Короленко. Русские университеты были мощными генераторами идей, и русская профессура была широко известна в Западной Европе. Оказавшись вышвырнутыми из России, они легко нашли применение своим академическим знаниям. Большинство из профессоров и философов были приглашены преподавать в университетах Европы либо учебных заведениях, созданных эмиграцией. Для изгнанников вопрос таким образом стоял не о куске хлеба.

Условия материальной жизни на Западе оказались значительно лучше, чем в России. Но тоска не проходила. И это была тоска прежде всего по масштабу интеллектуальной жизни России.

Бердяев оказался одним из самых плодовитых писателей русской эмиграции. За годы изгнания он издал десятки книг и написал сотни полемических статей. Большинство его книг переведено на иностранные языки. Среди наиболее известных трудов можно назвать: «Миросозерцание Достоевского», «Смысл истории», «Философия неравенства», «Новое средневековье», «Христианство и классовая борьба», «Философия свободного духа», «О назначении человека». «Судьба человека в современном мире», «Самопознание», «О рабстве и свободе», «Смысл творчества», «Типы религиозной мысли в России» и другие.

Привлекательность книг Бердяева, причина их большой популярности — в тесной связи философских размышлений писателя с историей России, русской культуры, русской нравственности и с русской мыслью. Почти в каждой из его книг находят отражение силы, страсти, духи и бесы русских революций. Вот почему выход каждой новой книги философа сопровождался в эмиграции бурными спорами.

Положение философа в эмигрантской среде было неоднозначным, спорным, зыбким. В лагере правых его считали чуть ли не большевиком, пропагандистом коммунизма. Среди левых, сторонников классической буржуазной демократии, раздражение вызывала резкая критика философом «формальной демократии», отрицание парламентаризма.

Метания Бердяева между Россией и Западом, между отталкиванием и притяжением большевизма вызывали гневливые окрики не только со стороны правых, но и от собратьев по перу, философов. «Ослепший орел, облепленный советским патриотизмом»,— заметил однажды о Бердяеве Г. П. Федотов.

Среди философов, оказавшихся вне России, активно работавших в эмиграции и внесших крупный вклад в развитие философских идей XX века, можно назвать:

Николая Онуфриевича Лосского (1870—1965),
Семена Людвиговича Франка (1877—1950),
Василия Васильевича Зенковского (1881—1962),
Льва Платоновича Карсавина (1882—1952),
Ивана Александровича Ильина (1882—1954),
Ивана Ивановича Лапшина (1870—1952),
Льва Исааковича Шестова (1866—1938),
Федора Августовича Степуна (1884—1965),
Бориса Петровича Вышеславцева (1877—1954).

* * *

Изгнание философов из России в 1922 году было кульминационным, трагическим моментом в отношениях между интеллигенцией и новой властью. Оно, разумеется, нанесло тяжелый удар по отечественной науке и культуре. Но трагический смысл этого события был в ином. Высылка означала нечто большее, нежели вспышку гнева новой власти против непокорных философов. Она, увы, отражала куда более глубинный процесс — отторжение большевистской властью национальной интеллигенции, отрицание разума и нравственности в пользу идейной догматики. Истинная трагедия культурной России состояла не столько в потере нескольких сотен великих умов — умами Россия оставалась богата,— сколько в том, что, подверженная жестокой классовой цензуре, великая российская мысль и культура стали медленно и неотвратимо погружаться во мглу «нового средневековья» с коммунистической подкладкой, наступал «катакомбный период» русской культуры, если воспользоваться выражением Н. А. Бердяева. Отъезд философов открывает длительный, растянувшийся на многие десятилетия и не прекратившийся и поныне процесс понижения культурного уровня и нравственного здоровья страны. Процесс этот сопровождался постоянным и целенаправленным шельмованием интеллигенции, противопоставлением ее народу. Происходит чудовищная подмена, узурпация понятий: интеллигенция, бывшая на протяжении веков умом, совестью, честью нации, низводится до положения «прослойки». Понятия «ум», «честь» и «совесть» приобретают совсем иной, извращенный смысл, а затем и окончательно утрачивают его.

Высокая нравственность, развитость ума, честность русской интеллигенции были качествами, которые казались помехой для укрепления диктатуры. Об этом с поразительной циничностью говорил, в частности, А. В. Луначарский в своих лекциях в середине 20-х годов в Москве. Объясняя, почему большевики беспощадно уничтожали меньшевиков и эсеров и более терпимо относились к беспартийной «обывательской интеллигенции», нарком просвещения разъясняет:

«Такого рода человек тем ценнее при данных условиях, чем он безыдейнее. Так и мы: если у спеца какого-нибудь, например, инженера, много идей, это хуже, ибо эти идеи мешают использовать в достаточной мере для работы такой элемент. А вот когда у него нет никаких идей, тогда его можно пустить в работу...»

Поразительное признание в устах интеллигента-большевика, во многом проясняющее, почему интеллигенция так усиленно выдавливалась из советского общества и превращалась в подручный «элемент». Нарком просвещения питал надежды на то, что «в будущем вся масса превратится в интеллигенцию, и это будет смерть для теперешней интеллигенции, но смерть чрезвычайно радостная, ибо она будет означать конечную победу пролетариата... и тогда интеллигенция будет не нужна. Тогда не только государство, по выражению Энгельса, будет висеть рядом с каменным топором, но и понятие интеллигенции займет такое же место».

Результаты такого рода пропаганды не замедлили сказаться. Искусственный ров между рабочими и интеллигенцией быстро углублялся. Через три года после высылки группы русской интеллигенции из России и через год после лекторских усердий А. В. Луначарского Н. К. Крупская жалуется в письме Кларе Цеткин: «Широкие слои крестьян и рабочих отожествляют интеллигентов с крупными помещиками и с буржуазией. Ненависть народа к интеллигентам сильна». Таков был итог минуток, часов, недель и лет классовой ненависти, ставшей неотъемлемой частью «просветительной» работы в большевистской России.

Битва большевиков за введение единомыслия в России завершилась победой. Теперь мы все яснее осознаем, что то была пиррова победа. Итоги ее трагичны. За сумерками свободы начала 20-х годов последовала кромешная тьма 30-х. Не видеть идеологической и нравственной преемственности этих периодов советской истории — значит вообще не видеть ничего. Закрепощение разума вплотную подвело страну к той грани, за которой начинается деградация общества: интеллектуальная, культурная, нравственная, генетическая, экономическая. Перестройка пытается остановить этот процесс. Сейчас не время называть виновных: их найдет и уже находит сама восстающая из-под глыб история. Важнейшая задача, которая стоит перед возрождающейся Россией, заключается в том, чтобы общими усилиями и как можно скорее засыпать классовые траншеи, которыми вдоль и поперек изрыто наше многострадальное отечество. Всплеск интеллектуальной, нравственной, культурной и политической жизни, который мы наблюдаем с весны 1985 года, свидетельствует о том, что идеологическая инквизиция, под какими бы хоругвями она ни выступала, не может убить духа свободы. Оправдываются слова Н. А. Бердяева: «Духовная жизнь не может быть угашена, она — бессмертна». В этом источник нашего трагического оптимизма.

И. ГАЛИМОВ. «Храм-город».

Но тикают часы, весна сменяет
Одна другую, розовеет небо,
Меняются названья городов,
И нет уже свидетелей событий,
И не с кем плакать,
не с кем вспоминать.
И медленно от нас уходят тени,
Которых мы уже не призываем,
Возврат которых был бы страшен
нам.
И, раз проснувшись, видим,
что забыли
Мы даже путь в тот дом уединенный,
И, задыхаясь от стыда и гнева,
Бежим туда, но (как во сне
бывает)
Там все другое: люди, вещи,
стены,
И нас никто не знает — мы чужие.
Мы не туда попали... Боже мой!
И вот когда горчайшее приходит:
Мы сознаем, что не могли б
вместить
То прошлое в границы нашей жизни,
И нам оно почти что
так же чуждо,
Как нашему соседу по квартире,
Что тех, кто умер, мы бы
не узнали,
А те, с кем нам разлуку Бог
послал,
Прекрасно обошлись без нас —
и даже
Все к лучшему...

А. АХМАТОВА


Получить представление о «бумажной архитектуре» по представленным здесь проектам так же невозможно, как выбрать из сотен работ десятков авторов самые характерные и показательные. Остается считать эти проекты символами явления и объяснить читателю его суть на пальцах, то есть на словах.

Словами «бумажная архитектура»

КРАТКИЙ КУРС «БУМАЖНОЙ АРХИТЕКТУРЫ»



Н. БРОНЗОВА. «Снежный ком».

М. ФИЛИППОВ. «Сон вождя».



обозначают архитектурные проекты, не воплощенные в реальных сооружениях либо потому, что они для этого и не предназначались, либо потому, что исторические условия этого не позволили. Отцом ее считается Джованни Баттиста Пиранези, итальянский гравер XVIII века, чьи архитектурные фантазии (особенно «Карчери»— тюрьмы) оказали неизгладимое впечатление на профессиональное воображение мастеров следующих столетий. К числу образцов «бумажной архитектуры» относятся и проекты, представлявшиеся на конкурсы Французской академии архитектуры в эпоху Великой французской революции, когда много фантазировали и мало строили. Вторая волна бумажных фантазий рождена авангардом начала нынешнего века — проектами итальянских футуристов, немецких экспрессионистов и русских конструктивистов. Здесь тоже немалую роль сыграли разного рода конкурсы, среди которых чемпион по размаху — конкурс проектов здания Дворца Советов в Москве на месте храма Христа Спасителя.

Лет десять тому назад понятие «бумажная архитектура» воскресло в связи с появлением в Москве молодых архитекторов, прославившихся на международных конкурсах, объявляемых крупными журналами (прежде всего — японскими) в поисках оригинальных идей. Конкурсы не предполагают реального строительства и формулируют свои задания так, чтобы не стеснять фантазии участников.

Сразу же «бумажники» получили известность за рубежом, выставки их работ побывали в Париже, Милане, Лондоне, Франкфурте-на-Майне, Цюрихе, Бостоне, Нью-Йорке, о них писали ведущие журналы мира. Никто не мог предвидеть, что в стране, считавшейся архитектурной провинцией, может появиться множество талантов — людей, одаренных остроумием, яркой индивидуальностью, незаурядными способностями в области графики. Их работы стали сенсацией [1].

На родине их поначалу приняли с настороженностью, если не считать восторгов Андрея Вознесенского, прозорливо окрестившего их проекты «сублимацией отчаяния». Молодые архитекторы с неохотой шли в проектные институты, где их ждали годы борьбы со строительными ограничениями и начальством, а в случае победы несколько стереотипных авторских построек. Участие в международных конкурсах и премии давали им чувство ранее не испытанной свободы и независимости от государства. Однако их творческая свобода проявлялась не только в возможности избежать бюрократической службы и хождения в «присутствие», но и в противопоставлении своих проектов исторической традиции архитектурного авангарда. (Вопреки критикам, чуть было с поспешностью не зачислившим их в число законных наследников архитектуры 20-х годов.)

Радикальное отличие «бумажников» от их предшественников состоит в том, что они решительно порывают со всякими утопическими попытками осчастливить человечество и откровенно потешаются над замыслами, еще не так давно обозначавшимися чуть ли не священными словами «город будущего».

Если бы не перестройка, не миновать нашим архитектурным чемпионам ярлыка «хулиганствующих элементов», забывших о великой «ответственности художника перед обществом». Судите сами: вместо заботы о благе народа и удобствах трудящихся один из проектов предлагает срезать часть земного шара, чтобы придать нашей планете «более модный силуэт» [2]. Другой архитектор для участка по Кропоткинской улице предлагал дом, сооруженный из сдобного теста, что позволило бы его жильцам со временем съесть свое жилище [3]. В проекте И. Галимова «Храм-город» изображена некая химера из исторических сооружений, сложенных в виде руин греческого храма. В проекте М. Филиппова «Сон вождя» против Кремля выросла Вавилонская башня, отчасти напоминающая конкурсный проект Дворца Советов Б. Иофана, В. Щуко и В. Гельфрейха, но еще большего размера и, пожалуй, чуть лучше нарисованная. Н. Бронзова сочинила

---

[1] Вот имена некоторых из них: Ю. Аввакумов, М. Белов, А. Бродский, Н. Бронзова, Д. Буш, Д. Величкин, В. Воронова, И. Галимов, Д. Зайцев, А. Зосимов, Н. Каверин, О. Каверина, А. Куприн, Т. Кузембаев, Ю. Кузин, М. Лабазов, В. Петренко, Д. Подъяпольский, А. Савин, А. Сигачев, В. Тюрин, И. Уткин, М. Филиппов, А. Хомяков, В. Чуклова, С. Чуклов, И. Шалмин, Д. Шелест.

[2] Н. Каверин, А. Мызников. «Третье полушарие».

[3] Н. Бронзова — «Дом-печение».

символическую архитектурную сказку про снежный ком, который докатился до того, что снес с лица земли весь город. В проекте А. Бродского и И. Уткина снос старых зданий смягчен возможностью установить их вместе с жильцами на полки гигантского колумбария...

Конечно, проекты не исчерпываются подобного рода ироническими концепциями. В них немало чисто архитектурных находок: эффектные зеркальные стены огромного размера, суровые леса колонн, самовозводящиеся и саморазрушающиеся конструкции; в них выразилась тоска их создателей по театрализованным инсценировкам и маскарадам, карнавалам и мистификациям. Однако все эти композиционные замыслы вращаются вокруг разоблачения иллюзий величия и роскоши, выражающих пустую гордыню и тщеславие. Выполнены проекты на редкость тщательно, с мастерством, удивляющим не менее, чем ирония, доходящая до цинизма.

Английский критик Брайан Хаттон назвал умонастроение «бумажников» «ностальгией по культуре», угадав и ностальгию по архитектуре, которая ушла из жизни в некий мечтательный сон. Этот сон наделен своего рода экстремизмом, свойства архитектуры — как искусства и как утопии — доводятся здесь либо до гипертрофированной выразительности, либо до логического абсурда. Однако этот юношеский максимализм — не «прорыв» в будущее, а скорее ироническое признание его несостоятельности. Вот где двусмысленность пиранезиевых тюрем отозвалась современным эхом. Фундаментальное разочарование в будущем можно назвать «апокалипсическим инфантилизмом», ибо в нем слиты юношеская фантазия и чувство фатальной безысходности.

Один из лидеров движения, М. Белов, видит в себе «дитя застоя». Возможность свободного творчества открылась поколению в момент, когда история девальвировала его цели и ценности, сладость творческих надежд смешалась с горечью исторических разочарований. Из этой смеси, не впадая в иллюзии и утопии, и сделали «бумажники» свои фантастические проекты, достигая порой редкого лиризма.

Это реакция на бодряческий культ будущего, являющегося то в виде коммунистического рая, то в образах научной фантастики. Оптимистическая улыбка «на ширину приклада», как безусловное требование Чеширского кота, еще висит в воздухе, но сам усатый постепенно исчезает в утреннем тумане. И не вина юных зодчих, что улыбка эта переросла в зловещую гримасу, впрочем, не везде и не у всех.

Противоречивость ситуации остается и отражается в оттенках бумажного проектирования. Перестройка не только открыла молодым дорогу в мир, но и нанесла урон их творческим замыслам. Противостояние официозу, питавшее их фантазию, сегодня теряет актуальность. Им говорят: «Будущее в ваших руках!» Хорошо пошутил на эту тему поэт Дмитрий Пригов, вопросив в ответ: «Где же наши руки, в которых наше будущее?»

Невозвратимость прошлого и несбыточность будущего уничтожили самое чувство реальности, которое у нас постоянно живет то в былом, то в грядущем и не имеет, так сказать, своего «настоящего местожительства». Эта бездомность и воплощена бумажными архитекторами языком, выражающим уже не исключительную судьбу профессии, а судьбу более общую.

Светлое будущее в соответствии с планами конверсии приказано переплавить в новые демократические законы. Начали рушиться стены казема-

Продолжение на вкладке 6.





ОСТАВАЯСЬ САМИМ СОБОЙ

Репродукция новой картины Ильи Глазунова «Великий эксперимент», которую печатает «Огонек», не раскроет вам, дорогой читатель, всего, что хотел сказать о нашем суровом времени этот всемирно известный художник. И дело не только в том, что большое полотно (как и «Мистерия XX века», и «Вечная Россия» — 6х3 м) очень многое теряет в таком уменьшенном виде, но и в том, что произведения изобразительного искусства невозможно объяснять словами. Надо все увидеть воочию, вникнуть, постоять около картины, ибо кисть художника — это та единственная дорожка, по которой мы спускаемся в его душу, в тот мир, где рождаются его образы и обитает его фантазия. Я абсолютно уверен, что и эта работа мастера вызовет споры, разноречивые оценки. Вот уже более тридцати лет вокруг его творчества бушуют страсти. Это началось с первой же выставки в ЦДРИ, где Илья Глазунов высказал личное суждение о жизни, признался в своей любви к России, сделав своим кредо суровую правду. Вопросы, которые он задает нашему времени, настолько порой больно отдаются в нас, что многие уже не ждут ответа на них, а испытывают ощущение собственной беспомощности что-то изменить в окружающем мире.

Можно принимать или не принимать того, что создал Илья Глазунов. Но бесспорно одно — в течение многих лет интерес к нему возрастает, общество бурно реагирует на его смелость оставаться самим собой в любых условиях



и при разных политических конъюнктурах. Его выставки, начинаясь в Москве и продолжаясь в разных городах страны и мира, всегда становятся событием. Если бы записать на пленку все — от восторгов до призывов к погрому, которые одолевают людей, стоящих возле его картин, то мы бы услышали великую симфонию любви и гнева.

Читая некоторые из отрицательных записей, я думал о нашем плюрализме хамства, которое в период гласности получает все бóльшие права, когда возможно оскорблять чужой труд только потому, что лично тебе не нравится манера письма или манера поведения. Но, перефразируя Маяковского, о Глазунове можно было бы сказать: он художник и этим интересен. Картину, репродукция которой перед вами, можно будет увидеть на выставке в Манеже в связи с юбилеем И. С. Глазунова. На полотне много знакомых исторических лиц. Художник очень удачно воспроизводит в картине известные и малоизвестные плакаты разных стран, чтобы через них передать историю политической борьбы, причастность людей к тем или иным событиям. Может быть, потому он так конкретен, что от бесконечных разговоров, заполнивших нашу страну, хочет вернуть нас к действию, к поступкам...

Об Илье Глазунове можно говорить еще и еще. Он предоставил для того неограниченные возможности своим творчеством, трагическим сочетанием всенародной славы, искренней благодарности и пренебрежения. Может, этим объясняется щемящее одиночество, которое я чувствую во многих его полотнах. Не удостоенный никаких премий на Родине, отдающий ей свой дар, пестующий в созданной им Академии юные таланты, жертвующий на восстановление былой красоты родного Отечества и на широкую благотворительность немало средств, поступающих от его выставок, народный художник СССР Илья Глазунов стремится говорить и нести людям добро...

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ



В. ВОРОНОВА, А. ИГНАТЬЕВ и Д. ПЕТРОВ. «Атриум одного дня».

Ю. АВВАКУМОВ. «Карточный домик».

КРАТКИЙ КУРС «БУМАЖНОЙ АРХИТЕКТУРЫ»

Начало на вкладке 1.

тов, украшенные лучезарными фресками с изображениями утра нашей Родины, но было бы слишком печально, если бы за ними мы обнаружили новые ряды укреплений, расписанные в аналогичном вкусе. Ждет ли нас нечто подобное или нет, в пылу и пыли перестройки еще не ясно.

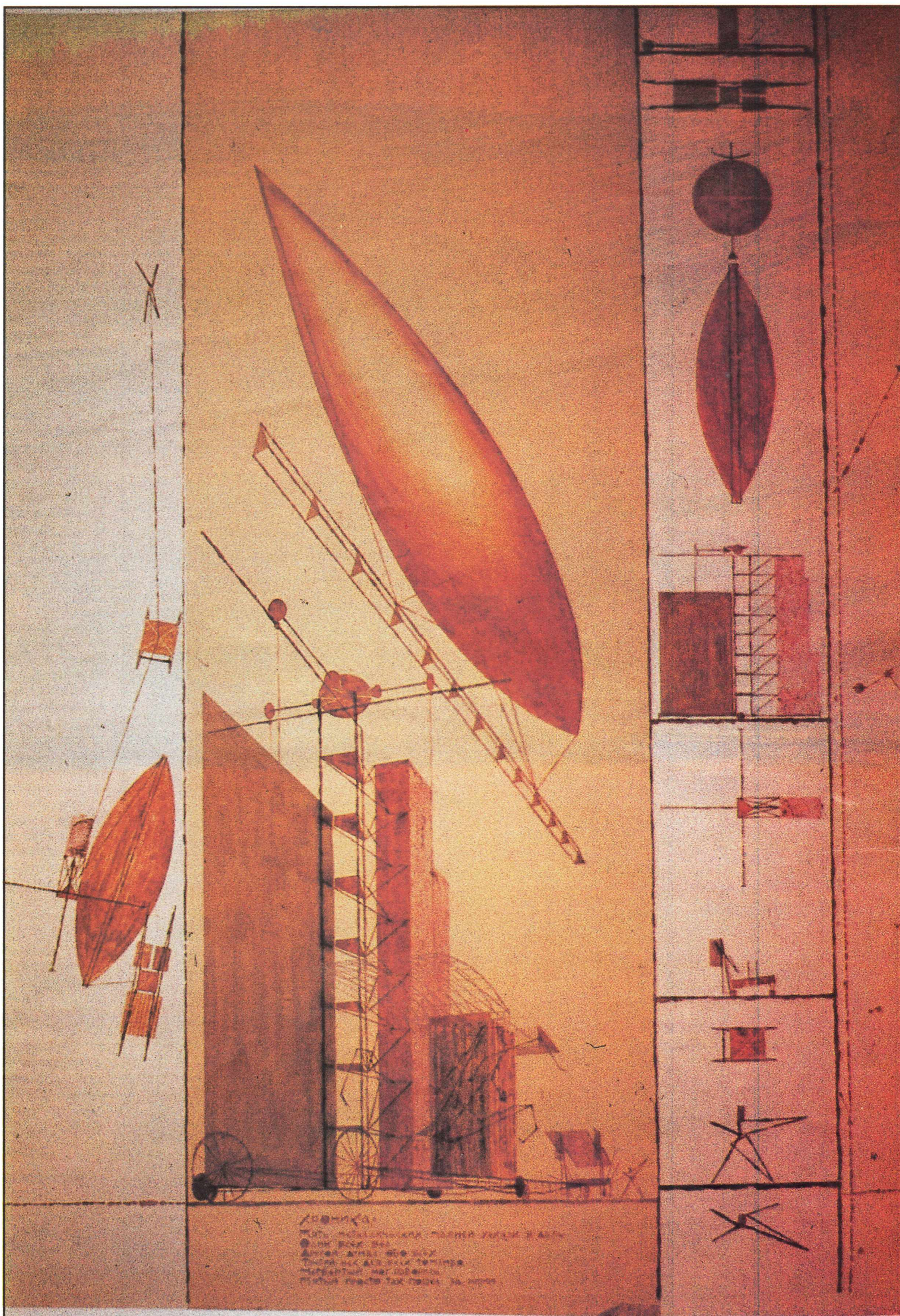
Положенный по возрасту юным архитекторам задор силой исторических обстоятельств сделал из них задир, переживающих невеселую правду о прошлом и неопределенность будущего. Несмотря на успех, эти люди весьма одиноки. О них пишут, ими интересуются, но все равно — силой исторических обстоятельств — они оказались оторванными от старшего поколения, авторитет которого для них невысок. Обретут ли они учеников? Трудно сказать, ибо нельзя учить горечи.

Время стремительно уносит нас от восьмидесятых годов. История «бумажной архитектуры» завершается в серии выставок, альбомов, становится предметом академического исследования и критического осмысления.

Быть может, ей суждено второе дыхание, иная жизнь, столь же непредсказуемая, как и первая.

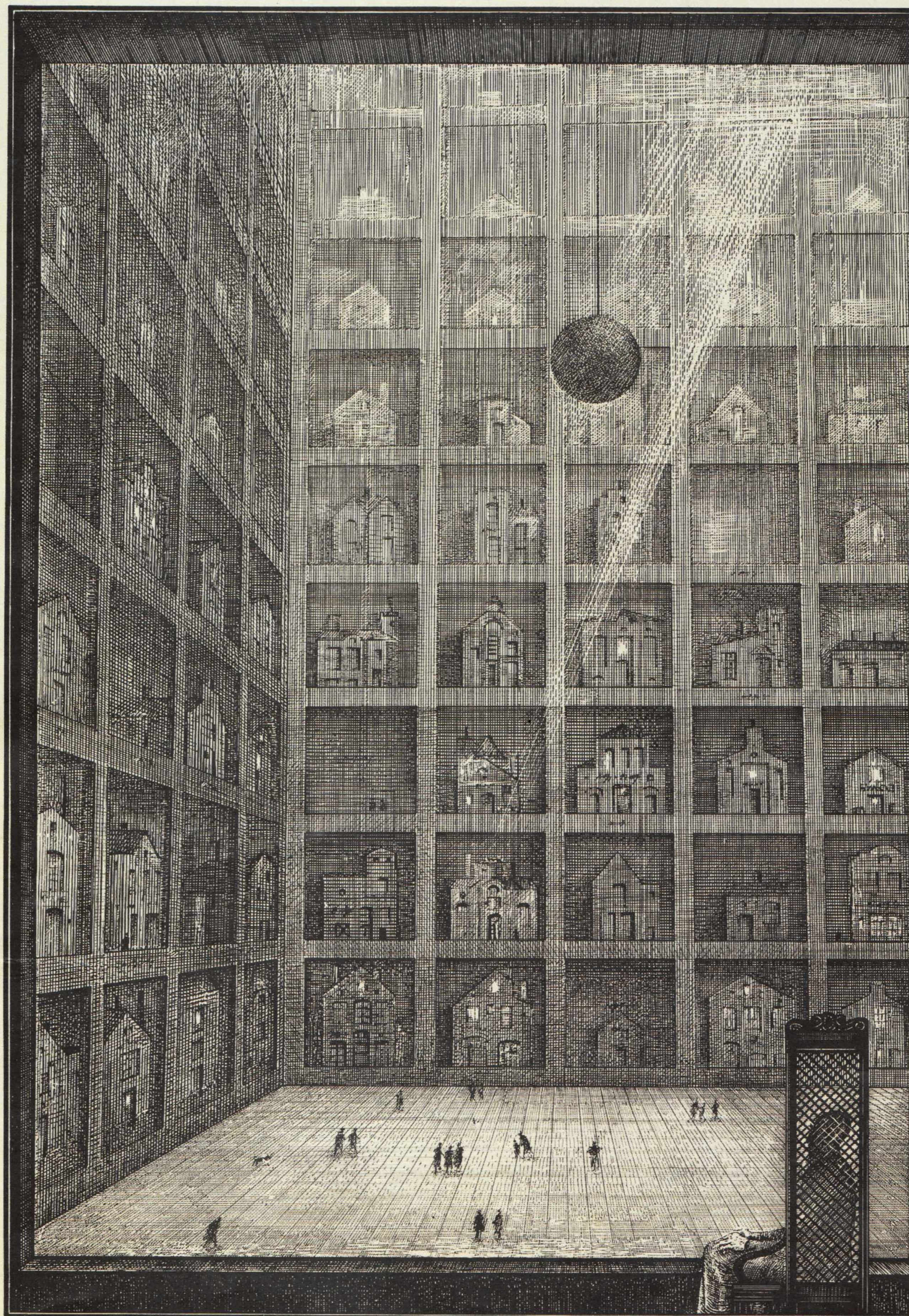
Но самый факт ее существования и оригинальности неоспорим. И этот факт открывает нам не столько новую архитектурную форму, сколько старую как мир форму жизни духа, умудряющегося творить на пепелище утопий, обманутых надежд и утраченных иллюзий.

Александр РАППАПОРТ



Ю. КУЗИН. «Городские электророзетки».

COLUMBARIUM HABITABILE·



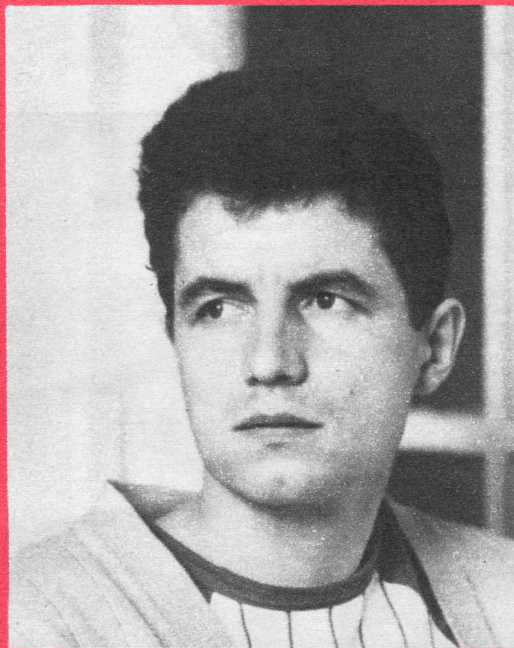
The house dies twice. For the first time when the people lease it because a man is a soul of the house. In this case it can be resived – when people will return. The other time when it is destroyed, the house dies finally. In one imaginable town where the new architecture hase almost exterminated the old one – still there are some old little houses each one with its own long history and people, joined in the whole one with it. All these houses are destined: they are sentenced to demolition in order to free place for the new one One day a master of an old little house must make a choice. He can deny his house and settle in a big new building. Then the old house will be destroyed and its façade will be placed in one of the niches on the façade of Columbarium. The master can always come and stand pear the wall, behind which he hase lised for so much years. In case he want to sase the life of his house – the humane city administration will replace it carefully inside the Columbarium into one of its cells, but with one condition: the master must lise in it as before inspite the strangeness of life on a shelf in this huge concrete sepulcher: Untill the people lise in the house – the house lises. But as soon as they surrender – the little old house dissapears and its facade like the posthumous mask appears in the niche outside.

Дом умирает дважды.
Первый раз, когда люди
его покидают,
потому что
человек —
это душа дома.
В этом случае он может быть
возрожден, если люди
в него вернутся.
Второй раз он погибает,
когда его разрушают
намеренно. Это
окончательная смерть.
В одном воображаемом
городе, где новая
архитектура уничтожила
старую, еще уцелели
несколько старых маленьких
домиков, каждый со своей
длинной историей и
со своими обитателями.
Но судьба их предрешена:
они приговорены
к уничтожению,
чтобы освободить место
для новых.
Приходит время,
когда хозяин
такого дома должен сделать
для себя выбор.
Он может покинуть свое
обиталище и переселиться
в большое новое здание.
Тогда старый дом будет
разрушен и его фасад
будет помещен в одну
из ниш фасада колумбария.
Хозяин дома всегда сможет
приходить и стоять у стены,
за которой он прожил
столько лет.
Если же он захочет
сохранить жизнь своего дома,
тогда гуманные власти
города бережно перевезут
дом и установят
его внутри колумбария,
в одной из его ячеек.
Но при этом существует
одно условие:
хозяин дома должен жить
в нем, как и раньше,
несмотря на странное
существование на полке
гигантской бетонной
гробницы.
До тех пор, пока люди
живут в доме,— дом живет.
Но как только они сдадутся,
маленький старый дом
исчезает и его фасад
как посмертная маска
возникает на внешней
стороне колумбария.

А. БРОДСКИЙ, И. УТКИН.
«Обитаемый колумбарий».

Леонид ДРАНЬКО-МОЙСЮК

ШАНС НА СПАСЕНЬЕ



Белорусский поэт Леонид Дранько-Мойсюк — из поколения тридцатилетних, из тех, кто начинал в период безвременья. Сейчас перед ним и его ровесниками-литераторами стоит непростая задача — доказать, что они не стали еще одним «потерянным поколением». Леонид Дранько-Мойсюк живет и работает в Минске.

* * *

Останьтесь, любовь и семья —
Единственный шанс на спасенье.
Еще искупает Земля
Проклятие грехопаденья;

Еще катастрофы грозят,
Что нас уничтожат немедля,
И каждое утро скрипят
На райских воротах петли.

* * *

Захочется сказать о красоте,
Но нету слов, а если есть — другие,
Красивые и все же не такие,
Похожие как будто, но не те.

И мучаюсь, губами шевеля,
А в сердце только отзвуки звучанья.
Тогда я замолкаю, и молчанье
Охватывает шею, как петля...

И все невыносимей сознавать,
Что красоту в мгновение любое
Ни гимном, ни проклятием, ни болью,
И даже гибелью не взволновать.

Перевод с белорусского
Р. ЛАПУШИНА

* * *

Узоры на мерзлом окне,
И сон не приходит ко мне.
Но поезд метельный приснится,
Как мраморная гробница.

Ищи, не отыщешь дверей,
Да что там дверей, даже окон!
Но все же окажешься в ней —
Спеленутый страхами кокон...

Тяжелого неба мазут
Прольется на темень перрона.
Снега голосят и ползут
За мною в потемки вагона.

Вокруг — ни души, ни огня.
Пропали заставы, границы.
И рельсы помчали меня
В той белой метельной гробнице.

Авторизованный перевод
с белорусского
О. ЩЕДРИНОЙ

БУТЫЛКА

Выпили бутылку чинно,
Бросили... И вот
Мается она под тыном
День, неделю, год.

Умер тот, кто пробку вынул.
Умер тот, кто пил.
Повалился тын на глину
И бесследно сгнил.

Солнце отцвело, и месяц
Одряхлел в пыли...
Одичавшим гиблым местом
Тени побрели.

Не увидел мир беззвездный
То, что у теней
Человеческая поступь
И кручина в ней.

Но едва лишь глаз бутылки
Их узрел во мгле,—
Заблестели, как росинки,
Слезы на стекле.

Слезы размягчили глину —
Тот идет, кто пробку вынул.
Утонул в слезах осот —
Тот, кто пил, идет.

Авторизованный перевод
с белорусского
В. КАЗАКЕВИЧА

ВИТЕБСК. 1922

Картины Шагала — сочетание смысловых построений, объединенных художественным единством в новое противоречие; так, например, он рисует картины — библейские истории, смешивая их с домами старых еврейских поселков Белоруссии. Это как бы две реальности.

Виктор Шкловский,
из книги «Эйзенштейн».

На Витебском рынке навалом лежат
Гвозди, кресты, корабельные ванты.
Дрыхнут, не ведают сторожа,
Что всюду шныряет ворье, спекулянты.

Какие там в грезах плывут корабли!
Какие там сны под ночным покрывалом!
Нужны позарез,
Как банкроту рубли,
Вещи, которых на рынке навалом.

Вещи ничейные
Ждут платежа:
Гвозди, покост[1], корабельные ванты
И жернова...

Но храпят сторожа —
За чистым помолом спешат спекулянты.

И вот налетают они вороньем
На гвозди, обрезки, подрамники, стружки...
Все подберут!
Беспризорники днем
Здесь не найдут даже ржавой игрушки.

А утром,
Когда встрепенется базар,
В еврейских лавчонках зажгутся оконца —
Вдоволь насмотрится этот товар
На царский чекан золотого червонца.

Крестов и гвоздей золотистая ржа,
И те же, что дважды помянуты, ванты...
А покупатели кто? Сторожа!
А кто продает?
Продают спекулянты!

Их обступает толпа горожан,
Старых евреев лохматые пейсы,
Серые свитки окрестных селян,
Из агитпоезда красноармейцы.

И где-то в сторонке от сонма людей,
В тихом закутке базарного рая,
Шагал выбирает полфунта гвоздей
И баночки с красками выбирает.

Ему предлагают отличный покост,
Не конопляное масло — оливу,
И шкуру медвежью, и мамонта хвост —
На рынке любое отыщется диво!..

И кто предлагает, тому невдомек —
Зачем же из этой базарной сказки
Шагал выбирает простой молоток,
Гвозди и баночку синей краски...

Какой-то моряк задает вопрос:
«С каких кораблей своровали ванты?»
От него спекулянты воротят нос:
Дескать, не лезь, отстань ты!

Глядит он на них, как на стаю ворон:
«Эх, шуганул бы, да ехать надо!
Попробуй потом догони вагон,
Дорога далекая до Петрограда...»

Художник сказал: «Не спешите зря!
Вагоны — прошлому на потребу.
Я вам предлагаю, товарищ моряк,
До Петрограда пройтись по небу!

С синего облака,
Словно с горы,
Вам предложить берусь я
Витебск и Витьбу,
Полей ковры,
Околицы всей Беларуси...»

Есть в сложности каждой своя простота,
Она испокон работой зовется.
Пойми лишь художника! И тогда
Душа твоя с сердцем соприкоснется.

Моряк его понял,
Хоть небо ему
Не волны и берег.
Но надо — так надо!
Вступил на небесную он целину —
Дорога далекая до Петрограда.

На плотника каждый художник похож;
И думу извечную думает плотник:
Любой матерьял для работы хорош,
Ибо искусен не он, а работник!

Умеет обычным топориком он,
Даже сколачивая домовину,
Из дерева вызвать малиновый звон,
Душой проникая в его сердцевину.

Полфунта гвоздей — золотистая ржа,
А в баночках краска надеждой лучится...
На улицах — сонные сторожа,
Над Витьбою конь пролетает, как птица!

И счастлив Шагал, что не слышен базар,
Но, в небе витая, он думает грустно:
Несчастен тот плотник, которому в дар
Дано ремесло без загадки искусства.

Ведь с глаз у него не спадет пелена
Извечного этого тусклого быта.
И только искусство во все времена
Назло умолчанью не будет забыто—

И в Витебск вернется,
И крикнет, кружа
На облаке синем,
В родные просторы:
«Не спите, ленивые сторожа,—
Шныряют вокруг спекулянты и воры!»

Авторизованный перевод
с белорусского
В. ТАРАСА

[1] Покост (бел.) — олифа.

Нина ЧУГУНОВА,
Марк ШТЕЙНБОК
(фото)

ZERO

С франц.: ноль, нулевая отметка. В математике: действительное число — отсутствие величины. Момент перехода рационального в иррациональное. Знак недостижимого. Символ бесконечного стремления. Спутник, антипод и знак бесконечности. Мертвая точка. Отсутствие возможностей. Неподвижность. Начало отсчета. Начало движения. Начало *иного*. «Черная дыра» в мире значений: символ переуплотненности и пустоты материи. Нищета, бессилие, конец. Безнадежность, ее предел. Безумие. Мистическое: хранящее загадку замысла. Таинственный или устрашающий знак (ср.: трофейный фильм, наслаждение послевоенного детства). Знак надежды, знак неминуемой удачи. («Начните с бесславья, с безденежья. Злорадствует пусть и ревнует былая твоя и нездешняя — начните иную». Поэтический мраморный слоник нашего поколения.)

При попадании на *зеро* все ставки забирает крупье.
(Из правил игры в рулетку.)

«Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную, счастли...»

«Особым деликатесом считается в заполярной Игарке вареная колбаса...
За дело взялись работники потребительской кооперации.
В канун праздника первая партия изготовленной здесь вареной колбасы поступила на прилавки...»
(«Игарский деликатес»,
газета «Красноярский рабочий»,
2 мая 1990 г.)



Старик напротив гастронома играет сам себе на баяне, он играет «Мурку» в частности. А ты никогда не слышал «Мурку», родной мой, ты с какого года? Он играет «Мурку», он играет. А граждане кидают ему в шапку уже почти фальшивые рубли. Но рубли. В его честную шапку-ушанку, черный верх, стеганая подкладка, уши завязаны навсегда. Он нам «Мурку», мы ему рубли, он нам «На сопках Маньчжурии», мы ему рубли... Скажи, что ж это такое мы всю, всю жизнь таскаем за спиной, как в вещмешке, чтоб оно выстрелило в спину без предупредительного, какой-то старик, какая-то глупая «Мурка» (как будто ты не ты вовсе; как будто шатаясь, бросаясь от полки к полке, идешь по вагону и в тамбуре куришь, и пальцы жжешь в темноте, ты их *жгешь* в темноте, играй дальше, отец, я ж молчу).

Меня берут за плечо в тот момент, когда я кладу свой рубль. Берут, как в кино. Это женщина моего народа. Со школьной скамьи я всегда поднимаюсь под этим взглядом. Годы не властны.

— Я узнала вас,— говорит она.— Вы были вчера на вечере Аллана Чумака.

Она говорит «вечер», ей так привычнее. Никто не против.

— Зачем вы все это снимаете,— говорит она уличительно,— ведь ваша



задача осветить наш город, не так ли. Есть у нас достопримечательности. А вот это — некрасиво. Скоро это уберут.

Мы с ней одной крови, и только поэтому у меня никогда не было против нее оружия, ее достойного. Я им уступаю их место в метро.

— Какие достопримечательности? — говорю я безвольно.

— Вы сами знаете какие,— отвечает она шикарно.

Но тот, что курит в тамбуре, швыряет окурок сквозь разбитое тамбурное оконце, и во мне пробуждается жизнь, и я делаю почти тот же жест: я увожу ее в сторону, чтоб никто нас, женщин, не подслушал, когда мы станем говорить о самом сокровенном.

— Конечно, я счастлива,— говорит она.— У меня есть сын, военный.

— Да нет, не то...

— Не то? — говорит она, высоко поднимая брови, которые теперь опять стали красить.

Я говорю ей, что военный сын — это огромное счастье, но есть — ведь есть? — и маленькое. Лучик какой-то. Он жизнь освещает, он лично тебя смешит. Какой-нибудь Тобольск, экскурсия и фотографирование верхом на пушке в двадцать лет? А?

Она молчит, раздумывая. Состав несется, раскачивая землю. Старик, не уходи.

— Было и личное,— говорит она тихо, как молодая беременная.— В прошлом году я была в туристической поездке в Финляндии.

— В Финляндии,— кричит она вслед,— лучше, чем в ГДР, то есть в Германии, как правильно теперь?

* * *

В начале мая в Красноярске провел девять лечебных сеансов Аллан Чумак. На первом было немного зрителей. Я запомнила фразу, сказанную кем-то: «Неужели в городе нет больных... это, конечно, хорошо...» На второй сеанс, ближе к вечеру, явились, как на концерт Пугачевой. Поздним вечером начался перелом, он свершился назавтра. Было по три сеанса в течение трех дней. За цветными фотографиями, имеющими ту же силу воздействия, что и сам Аллан Владимирович, выстаивали очередь. Но вообще это был не самый восприимчивый город. Не Ростов, там завалили цветами. Не Кострома. В Костроме во время сеансов размыкались на пальцах золотые кольца, о чем имеется видеозапись.

Сеансы были даны в огромном зале спортивного дворца, рядом с которым зазывал публику передвижной зверинец и ревели моторы смертельных мотоаттракционов, название одного из них многим напомнит детство, но я его сейчас забыла, что-то про шар. В кустах цыгане считали деньги, вырученные от продажи фосфоресцирующей помады. Мужик красил забор зеленой краской. Деревья в парке были строги и высоки, как переговоры. Начиналось лето?

Безмолвный многотысячный зал есть единственная моя иллюстрация к нижеследующим фрагментам. Это молчание невозможно снять и описать. Это безмолвие на грани нашатыря. (И где-то наверху... плакал ребенок.) Выше, под самыми сводами конструкций купола,— пятнадцать выцветших флагов.

Странно, что иные выцвели больше, иные меньше. Или обновляли?

«Я изобрел молчание». Это сказал он мне по телефону еще в Москве. Молчание переносить нелегко, неловко. Особенно по телефону. Молчание так же мучительно, как счастье. Его переносить нелегко. Кажется, что надо что-то сказать. Сбить полет бумеранга. Я думаю, что большей частью мы говорим от страха. Или нет? В самолете его дочь протянула мне половинку шоколадки. Это был хороший шоколад. Но я отказалась с неловкостью, а шоколад, сказал он, хороший, пористый. Все время полета мы проговорили. Женщина, имеющая тетю, оборачивалась к нам непрестанно, а тот, кто сидел позади нас, похоже, слушал, как синхронный переводчик, забывший о своих обязанностях. Да, что касается тети. «Моя тетя тоже стала лечить»,— сказала женщина, улыбаясь ему, как родному. Он сказал мне вдруг: вы уходите, перестаете воспринимать. Приступ ангины опять стал терзать меня, как в Москве. Он протянул ко мне руку, согнул ладонь подковой, приблизил к горлу, стало горячо, стало жечь, и прошло.

В аэропорту кто-то к кому-то из нас бросился, крепко целуя, замахали цветами, ночь доедала день, как доедают дети съедобную желтую вату перед началом цирка, и было так тепло, и начиналось лето с привкусом спирта на губах: он как бы между прочим сказал в самолете, что, мол, чувства будут обострены, они как бы откроются, он даже точно вот так выразился: откроются шлюзы,— я спросила, а если их вовсе нет, на это он улыбнулся. В лифте армянские парни через нас передали ему привет из Армении (он дал серию сеансов в годовщину Спитака, Ленинакана, Кировакана...). Кто-то развеселил всех, сказав, что улица Свободы начинается с тюрьмы, мол, у тюрьмы такой и адрес: Свободы, 1. Он пригласил отужинать в его номере, который был «люкс» с фальшивым камином. «Хотите эксперимент?» — спросил он, когда было налито. И у всех коньяк превратился в воду, лишь у меня сделался крепче. (Артист В., оказавшись в гостях у него в подобной ситуации, расстроился не на шутку. Он говорил: «Зачем же портить продукт?».)

Как видите, ничего нового, так? Далее мы говорили о том, как найти радость существования. Он сказал: радость ничего не стоит. Я возразила: мы ее уничтожали и, следовательно, тратили средства, хотя бы на объявления о том, что она достигнута. Разве погребенное не стоит хотя бы ровно столько, сколько стоило погребение? Он описывает простую радость, многим уже недоступную: человек утром открывает окно, и «вдруг ему хочется петь!». Я спросила: вы говорите о том, что в людях утрачена способность ощущать жизнь?.. «Просто жизнь!» — подхватил он. Потом мы довольно много говорили об обязанностях, о том, что каждый затвердил реестрик разрешенных к употреблению действий, понятий и чувств.

Дерзость грошовых истин, мне скажут.

Потом мы говорили о том, что парадоксальность мышления, может быть, главное, что отличает человека. Любовь к парадоксам, тяга к парадоксам, влечение, страсть, подхлестываемая сомнением, этим старым интриганом, циркачом и алхимиком, поэтом и бестией провокации. Возможно, поиск парадоксов — обязанность человека. В противном случае, говорит он, отпадает необходимость задавать вопросы. Нет живости, и исчезает жизнь.

Он говорит: долгие годы я жил нормальной человеческой жизнью. Да, я был необычным человеком, у меня были постоянные конфликты, связанные всегда с попытками загнать меня в русло, но я скандалил, ругался, логически понимая, что лучше смириться, но это было сильнее меня. (В этот момент приносят курицу Аэрофлота, ее нога торчит, как кулак протестующего, она сильнее меня, как превосходящий властью вахтер, и т. п.) У меня всегда было огромное количество друзей, но для начальства я был костью в горле. (Начальство, уточню для таких же невежд, как я,— это начальство на ЦТ, где он проработал журналистом много лет.) Чем бы я ни занимался, мне всегда хотелось добиться наивысших результатов. Я занимался спортом. Я хотел стать мастером — я стал им. Я захотел попасть в сборную — я попал в сборную. И я бросил спорт, когда мне стало неинтересно. Я как бы остановился на базовом лагере и начал спускаться, зная, что там, на вершине.

— Хотя ортодокс пошел бы как заведенный наверх.

— Да он же запрограммирован,— говорит он спокойно.

«Жизнь — это колоссальный труд!»

Но труд, говорим мы друг другу, захлебываясь от восторга, обычное дело, счастливый. Как любовь. Да что любовь! Любовь бедна в сравнении. Нет, так. Жизнь дорога, любовь океан. Как мала жизнь. Человек рождается и тотчас начинает путь к смерти, исполняя обряды жизни. В этом его отвага и его достоинство. Мы говорим об «абракадабре путеводной звезды» и для виду удивляемся тому, что целиком регламентированная жизнь применена к человеку обществом, провозгласившим свободу человека, об убеждении, что казарменная организация повседневной жизни есть верный путь к продвижению в делах. А главное — так почему-то спокойна совесть, сильно удивляюсь я. Один гранинский герой всю свою жизнь фиксировал время, затраченное на жизнь: письмо к сыну, чтение, раздумье. Я помню, как засияла его корейская звезда высоко надо мной в детстве, я помню железные режимы дня, несомненно, принесшие пользу...

Все гораздо печальнее, произносит он. Все печальнее. И грустно: ВСЯ СТРАНА НАХОДИТСЯ ВО ВНУШЕННОМ СОСТОЯНИИ.

— Вся! Вся! — подхватываю я.

Первым, кого я вижу, входя в освещенный и нервный зал Дворца спорта в два часа пополудни следующего дня (дочь, диктор и он сейчас поднимутся по боковой лестничке на сцену, он выйдет к микрофону таким, каким его знают и любят,— добрый, идущий навстречу, идущий к тебе («Я вижу каждого из вас, мое воздействие распространяется на каждого в отдельности»), а диктор и дочь в белом платье сядут за столик, на который в течение двух часов будут складываться записочки и цветы, записочки стопкой, цветы дровяной поленницей), первым, кого я ясно вижу в зале неясных лиц, является безногий с загорелым запрокинутым лицом.

Безногий сидит на нулевой отметке, он без места, он в нулевом ряду, где пока, кроме него, нет ничего и никого, и желтый свет концертно-госпитальный сияет над ним низко, как придвинутая лампа.

У него счастливое лицо.

— Мне билета не надо,— говорит он смеясь.— Меня здесь все знают. Я сюда всю дорогу катаюсь. На все концерты. Это вот ей тяжело.— И он кивает на женщину с белым лицом ангела, она в высоких ортопедических гладких ботинках.— У нее с ногами плохо.

Она улыбается тоже, счастливой и мягкой улыбкой верующей.

— Мне от жизни ничего не надо,— говорит он, запрокинув лицо, и тогда я опускаюсь рядом с ним почти на коленки, зал вздымается за нашими спинами, и мы защищены от них сеткой, как дети или как больные среди здоровых.— Только б голова не болела. Голова стала болеть. А она — моя жена.— Ватник на нем цвета забора, чистый и старый. И я слышу только его. И ее улыбку слышу. Нам больше ничего не надо на этой нулевой отметке, где дети и убогие и я.

ОН ВЫХОДИТ К НАМ И СНИМАЕТ ВНУШЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, КОТОРОЕ НАКАПЛИВАЛОСЬ В НАС ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, ОН ОТКРЫВАЕТ ШЛЮЗЫ, ОН ДАРИТ НАМ ЧУВСТВО ГАРМОНИИ, ОН ДЕЛАЕТ НАС ДОБРЫМИ? (Ведь он обещал, ведь обещал?)

— Не надо стараться быть ближе к сцене,— мягко говорит он.

Зрительные ряды спускаются с амфитеатра, подползают к сцене до невидимой черты, и здесь, на границе, где их мир переходит в его, здесь старики, дети, убогие. Здесь мальчик, бьющийся на инвалидной коляске. Здесь их правильное место. Их последняя черта. Знак надежды. Таинственный кровоточащий знак надежды. Их право, их территория, их время верить и терять веру, точка боли, предел безнадежности, здесь самый ясный и простой символ того, что отличает нас от других людей земного шара,— вот она, черта и точка, проведи ладонью и посмотри потом на ссадины.

— А счастье мое такое,— сказала стоящая на этой черте.— По мне будто трактор прошел. По всей моей жизни. А я живу.

Но потом я вижу и женщин, которых всегда различу в толпе, и они меня различат, чтобы взять за плечо. Они тут. Они пришли. Им кто-то уступил свое место, что ли.

Сцена вытерта и чиста, как старый ватник.

Слева от сцены стоит на дежурстве Виталя. Мы с ним подружились на почве разговоров о счастье и стали вместе смотреть в зал. Виталя был единственный здоровый человек. Виталя и его любимая, сидевшая в кресле с красной повязкой на рукаве с другой стороны сцены. Виталя, поглядывая на нее, спросил меня, что значит выражение «банальная пара», и я рассмеялась глупости сказавшего это. А после сеанса ко мне подошла делегация женщин, и они хором закричали мне:

— Вы сюда лечиться пришли или улыбаться?

И они ушли, строем, потушив в моей душе слабенький свет.

А Виталя вдруг сказал с ужасом и шепотом:

— СМОТРИТЕ, ОНИ ВСЕ НА ОДНО ЛИЦО.

— Я готов даже к тому,— сказал мне экспериментатор, казалось бы, самый свободный из всех нас (потом мы подробно говорили с ним о замкнутых и разомкнутых системах, что столько же притягательная тема, что и пузыри земли, отмеченные Шекспиром и кружившие голову Блоку),— готов к тому, что вы напишете разгромную статью. Да-да. Готов. Лишь бы был анализ!

— Не могу,— сказала я правду.

Он говорит, что положил в мою левую ладонь яблоко, но я не чувствую. Зато я чувствую зло, на огромном подчас расстоянии. В моем номере, оклеенном красными обоями, как коробка с красным померанцем, провалённая с одного бока кровать. Я на тот край и не сажусь.

Я хожу мимо рядов и смотрю на лица. Теперь мне это можно. Я это делаю по работе. Когда он наконец говорит: «Разомкните руки и ноги, закройте глаза и прислушивайтесь к себе»,— тогда только два человека ходят по-над рядами и смотрят в кромешной тишине. Как санитары, что ли. Под ногами у людей стоят трехлитровые банки с пластиковыми крышками. Во время сеанса они зарядятся, и, полгода остающаяся свежей, вода будет лечить. Будет. Будет. Тише. Не плачь, малыш. Издалека я вижу Виталю. Он похож на стойкого оловянного солдатика. У девушки на подоле юбки-«варенки» разложенная, как на продажу, фирменная косметика. Одна коробочка с треснувшей крышкой перетянута аптечной резинкой, это и нам знакомо. Девушка открыла глаз и зыркнула на меня. Я вижу супружескую пару — достойных красивых стариков. У него орденские планки на пиджаке. А она закрыла глаза с улыбкой воспоминания. Я потом подойду, спрошу, почему перед ними, кроме воды, еще банка с топленым маслом.

Тише.

Он говорит, сеанс окончен, но прошу вас, не разрушайте гармонию, возникшую сейчас в вас, до свидания, желаю счастья.

И тут парни врубают свою музыку. Они потом сказали, что только что эта аппаратура приобретена для зала. Хотелось испробовать. Они врубают на всю катушку. И что-то рвется в клочья, пока к ним бежит наша Валентина, администратор группы, пока она пытается им объяснить, что это нельзя. Что больно. Что рвется.

САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ

...— три года я лежала в постели, страшная у меня была боль. От меня отказались врачи, она мне сказала: вылечить вас я не могу. И я стала вашу воду пить и даже удивилась.

— Вы корреспондент? Слушайте. Мне жизнь моя была не мила. А теперь я хожу пешком много километров. Я учительница, вы что-нибудь представляете, что значит проверить сто двадцать тетрадей за один вечер? Я совсем истощилась. А теперь я стала радоваться жизни, рисовать — и вот, прочтите. Это стихотворение я посвящаю ему. «Болезнь ломала нас и била и не хотела отступать, и жизнь была уже немилой, и так хотелось умирать. Но вот пробился луч надежды, в эфире голос прозвучал. Жить захотелось, как и прежде. Ваш голос к жизни нас воззвал. И ваши руки золотые беду большую отвели, что стали вновь мы молодые, что вновь творить добро могли!»

— У меня разболелся живот, а воды оставалось немного, и в ней образовался осадок. Я подумала: выпью, будь

что будет. И выпила, и стала я как золотая. Я выпила кофе и съела полбатона полукопченой колбасы.

— Вы меня вернули к жизни. Я живу на закиси азота, но у меня проходят боли, как только я подумаю о вас. Я только вами живу.

— Вы сейчас (говорит он, стоящий на сцене) сказали очень важную вещь. Иногда нет под рукой ни заряженной воды, ни фотографии. В таком случае можно попросить помощи, мысленно обратившись ко мне. Правда, не стоит это делать по пустяковым поводам.

— Вам от советского народа спасибо. У меня почки, надпочечники...

— Я стала понемногу жить, радоваться (запись на диктофон).— Вы счастливы? — Не знаю, что сказать. По моей жизни как будто трактором проехались. Но я теперь немного радуюсь белому свету.

— У меня сильная аллергия даже на искусственные меха...

— Народ требует, чтобы вам вновь предоставили время в эфире. Многие уже без этого не могут жить. Это требует советский народ!

— Я гипертоник двадцать лет и с июля после приема лечения чувствую себя просто счастливой! Но после приема Кашпировского я не знала куда деваться, просто смертельно. Но ваш прием по радио меня облегчил. Но после всего у меня заболели ноги. И опять после вас я бегаю как молодая (начинает всхлипывать у микрофона).

— Как мучает меня низкое давление, как оно меня мучает!

— Можно ли принимать ваши сеансы беременным?

— Неужели я такая бесчувственная, но я ничего не ощущаю!..

По рядам покатилась баночка с кремом, остановилась у нулевой черты. Никто за ней не наклонился, лица запрокинуты вверх, и желтый свет их освещает.

— ...и вот я стала принимать ваши желудочно-кишечные сеансы.

— ...начало меня так тошнить, страшное дело, и началась рвота желтого цвета. И меня так рвало, рвало, и вы знаете чем? Но потом стало лучше. Столько из меня вышло желчи! И даже «скорую» пришлось вызывать, и меня спросили: что, от чего? И я сказала: от сеанса. С тех пор я себя прекрасно чувствую, я хожу по городу счастливая!

— Можно ли заряженную воду разбавлять?

Я подошла к супружеской паре и спросила: «Как ваша жизнь сложилась?» Она смутилась, подумала, светясь. «Мы занимаемся общественной работой». «Вы прошли войну?» «Да, я фронтовичка, я была старший сержант, радист, я была в первой танковой армии, тридцать первый танковый корпус, 692-й отдельный батальон связи». «Вы были ранены?» «Легкая контузия, осколочное ранение». Она много лет преподавала, член партии. «Вы поверили в эти сеансы?» «Я в него поверила, я стала ноги смазывать заряженным кремом, это мне помогло. А теперь я решила зарядить обыкновенное топленое масло, поскольку крем купить сложно». «Ваша жизнь счастливая?» «Да!» «Что это значит?» «Это значит хорошая семья. И все, о чем я мечтала, мне удавалось. У меня много друзей. Вот моя приятельница. Студенты мои меня не забыли».

— Чего нам всем не хватает для счастья?

— Для счастья нам не хватает трудолюбия, порядочности, чистоты и тепла. Сейчас очень много униженных когда-то людей, они ищут отдушину... Они ищут утешения, понимаете? А он терпелив и добр... он им поможет.

— Некоторые относятся к нему как к Богу.

— Как к Богу нельзя относиться ни к кому.

— Человек, много ездивший с ним по стране, сказал мне: наша страна очень больная. Это страна больных людей.

— Я считаю, что наша страна больная. Особенно она больна тем, что сейчас все настолько набрали лишний вес! Наша тучность мешает нам радоваться жизни. Посмотрите на этих женщин.

В эту минуту милый резковатый давний голос как будто снова произнес в телефонную трубку что-то веселое о сорок шестом размере платья, после которого о женщине говорить не приходится.

— Надо меньше лежать, надо много читать,— говорила не слушавшая голос со сцены и плачущие голоса в микрофонах, а я стояла внизу, запрокинув к ней лицо слепого. Ее лицо розовело, румянилось, она, конечно, тоже умела говорить «не здравствуйте», и назидательность и резковатый голос ее захватывали меня, а ее приятельница смотрела на меня просто как на предмет, а старик, ее муж, смотрел перед собой, и большие слабые белые руки его лежали на коленях, вечером в гостинице начался слет фронтовиков, и обнимались девочки сорок третьего, матери 44-го.

Человек в белой куртке буфетчика осторожно зашел, сел. Банки стеклянные, как аквариумы без рыбок, стоят ненадежно. «Закройте гла-за-а... прислушайтесь к своим ощущениям». Женщина с подзорной трубой военного образца.

Спят.

Цыгане слушают и едят огурцы, макая в соль в газетке.

Спит женщина в платочке, подняв лицо, спит молодая, нога на ногу. Спит немолодая в платочке с люрексом, зажав коленями набитый продуктами полиэтиленовый пакет. Спит моя фронтовичка, так слушают музыку, возможно, ре-минорную фугу, спит подруга, перебирая пальцами, привычными к вязанию. Спит муж, так он будет спать всегда.

Спят, опустив углы рта. Спят, опустив головы. Спят, уставясь в свои животы, спят, повернув ладони, открыв их инстинктивно, ловя ладонями зеленые гладкие яблоки. Спят, разбросав детский крем на полу веером. Один тюбик уже наполовину выжат.

Спят в вязаных шапках, спят растрепавшись, спят с гребнями роговыми в седых волосах.

Валентина устало курит в тренерской, где самовар, и банки кофе, и сноп цветов, диванчик, кресла и зеркало, куда сейчас придет он, влекущий за собой то ли журналиста, который говорит ему: «Допустим, я себя убедю...» — то ли местных экстрасенсов, один из которых спросит относительно буддизма, то ли страдающую мать с ребенком.

Вечером опять немного занимались простыми экспериментами.

Он узнал о своем даре внезапно, явившись к экстрасенсу с «разоблачительным» заданием и выслушав с порога: «Ого, какое поле!»

Власть его велика. Тысячи собирались у его прежней квартиры. Тысячи напишут мне. «Где прячется этот корреспондент!» — это я слышала в Красноярске. И еще услышу. И я их не убедю, нет, не в чем.

В свободный час мы выехали за город. Все разбрелись тотчас по лесу отечественными парочками, а мы встали друг против друга и проговорили некоторое время, после чего он сказал: «Ну, наконец-то!» Было странное чувство смертности жизни. И это бросило меня к нему... к его разговору, и, увязая в полулетней свежей земле каблуками лучших туфель, я слушала и слушала его, и это было счастье. Да, что ж. Надо признаться. Человек с видеокамерой все записал.

Он говорил о том, что человек обязан открыться навстречу жизни. Это близко мне. Это так нужно. Это как если бы разрешили: живи.

Он утверждает, что однажды получил предложение продиагностировать некоторых членов правительства. Но отказался. Он говорит, что несомненно, что нами правят также и те, кто практически не поддастся излечению: закрытая система не превратится в открытую. Замкнутая система, десятилетиями потребляющая только ту информацию, которую она сама себе поставляла и внутри себя вырабатывала, не сможет перейти на иное обеспечение, на переработку действительно новой, невиданной подчас информации. Червь с двумерным пространством не освоит третьего.

— Кто? — спросила я машинально с ужасом, с «ах!».

— Вы видите,— сказал он значительно, мудро.— Все видят.

Одной женщине он привиделся наяву в виде огромного портрета в окне. Она смотрела со страхом, думая: не перекреститься ли?

— Что ж,— сказал он в самолете, когда мы летели туда.— Ко мне в Лавре бросилась слепая с возгласом: «благослови» — и я благословил. Я, несомненно, могу благословить и Патриарха.

В день, когда он это произнес, почил Патриарх.

* * *

В последний день мы грузились в микроавтобус у служебного входа. Было много цветов. Их отдали потом ветеранам в гостиничном ресторане. Ветераны плакали, говорят. Им сказали, от кого.

Мы сидели плотно в автобусике и ждали его. Вдруг послышался его голос, звавший меня.

У входа стояла рыдающая женщина с лицом, покрытым струпьями от слез. Рядом с ней девочка. И он. Было почему-то очень холодно, как будто временно кончилось лето. Это было невремя, ноль, время зеро. Он отстранил женщину, знаком подозвал меня. Он не отрываясь смотрел на девочку. Ночной состав летел, сжигая тормоза.

Девочка была лет одиннадцати, в плохом розовом стеганом пальтишке. Она держала руки в карманах, не отрывая от него глаз.

— У нее деформируется легкое,— закричала женщина изо всех сил.

— Вижу,— сказал он почти зло, напряженно.— Молчите.

Она замолчала, как бы закрыв рот, зажав его ладонями.

Красота девочки, красота глаз под ровными арками бровей, сжатого твердого рта, маленького подбородка и просторного лба...

Прошло очень много земного времени. Прошло две или три минуты. Сумерки слегка сгустились.

— Что ты чувствуешь? — спросил он не мягко, иначе.

— Распрямляется грудная клетка. Легкие наполняются. Грудная клетка становится шире.

Она говорила, как его ассистент. Это был взрослый голос человека. Взрослый, одинокий. Мать заголосила.

— Операция не нужна,— сказал отрывисто.

Мать повалилась на меня, сквозь рыдание она выталкивала фразы: «...упала на фигурном катании, назначили срок операции...»

И мы все втиснулись в автобус и поехали, перемешанные с цветами, а девочка-точка осталась на своей крохотной, ей жизнью отведенной земле со сжатыми кулачками в карманах розового пальто. Пальто, которое мы ей все сшили однажды.

P. S. Мне все равно, кто ты. Спаси этого ребенка. Спаси и того, что вчера начал ходить на глазах потрясенного зала. Спаси. Мы еще поговорим о том, кто был Лермонтов, и как питается астральным духом душа, и как космосом укрепляется позвоночник. Историю с душой, отлетевшей от тела умершей женщины, душой, беседовавшей с тобой двадцать минут, я помню. Я не верю тебе!

Но спаси.

Сил нет не верить.



Сергей ХРУЩЕВ

ПЕНСИОНЕР СОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть III

Отца немедленно отвезли в больницу на улице Грановского. Начались беспокойные дни неопределенного ожидания.

Владимир Григорьевич объяснил, что в больнице отцу пробыть придется долго, несколько месяцев, но критические — первые десять дней. Может случиться все, что угодно, и он может умереть в любую минуту.

— Мы делаем все возможное,— закончил он стандартной фразой. Несмотря на казенность, его слова подействовали на меня успокаивающе.

Владимир Григорьевич не возражал против посещения больного. Пользуясь своими правами главного врача больницы, он выправил мне пропуск, позволявший ежедневные посещения в любое время. Предупредил только, что отца нельзя волновать. Волнение может пагубно сказаться на течении болезни.

Каждый день, когда днем, когда вечером, я приходил к отцу и проводил у него час, полтора. Дни стояли жаркие, но в палате было прохладно — работал кондиционер. Старое здание, построенное еще в начале 30-х годов для Лечсанупра Кремля, недавно капитально переоборудовали.

Отец лежал неподвижно на спине, читать ему не разрешали, и он предавался размышлениям. Я пытался развлечь его, рассказывал разные домашние новости, говорил о том, как идет работа над мемуарами: что делаю я, а что Трунин.

Рядом с кроватью стоял прибор, провода от которого тянулись к больному, а на экране непрерывно рисовалась ломаная зеленая линия кардиограммы. В палате постоянно дежурила сестра — положение больного было тяжелым. Только когда я приходил, она ненадолго покидала палату.

Отец не любил, как он говорил, пустого времяпрепровождения. К нему он относил и мои визиты. Начинал притворно сердиться:

— Ну, чего ты сюда ходишь? Тебе что, делать нечего? Тратишь свое время и мне мешаешь. Я здесь постоянно занят: то капельницу поставят, то укол делают, то врачи с осмотром приходят, то температуру меряют. Времени скучать не остается.

Но по выражению лица было видно, что приходы мои ему приятны.

Навещали его, конечно, и мама, и дочери...

Время шло, дела пошли на поправку. Разговоров о смерти больше не возникало.

Я помнил предупреждение Беззубика беречь отца от всякого волнения, и потому мои разговоры с ним были преисполнены оптимизма.

Между тем события снова стали приобретать мрачные тона. Видимо, началась новая стадия охоты за мемуарами, а может быть, она и не прекращалась после визита четы Харвеев.

Первые предупреждения прозвучали ранней весной, когда отец еще был здоров. Поначалу я не отнесся к происходящему с надлежащей серьезностью. Слишком все это было похоже на плохой кинофильм. О том, что не все ладно, я узнал в конце апреля.

В нашем отделе работал Володя Лисичкин — симпатичный, улыбчивый молодой человек. Влетевший в тот солнечный день в нашу комнату Володя выглядел необычно растерянно. Оттащив меня в уголок, он без предисловий таинственным шепотом сообщил:

— Ты знаешь, за тобой следят!!!

Я не поверил. И хотя предыдущие события должны были приучить меня ничему не удивляться, подобное в моей голове не укладывалось. Следят за шпионами, уголовниками — они прячутся от закона. А чего следить за мной?

Мемуары? Без сомнения.

Володя продолжал:

— Ты час назад ехал по Ленинскому проспекту, там, в конце?

— Да.

— Вот видишь. Я спешил в редакцию на такси, надо было забрать рукопись с машинки. Водитель попался разговорчивый. Он и говорит: «Хочешь посмотреть, как следят за машиной? Вот эти две «Волги» ведут вот ту машину». Я посмотрел и обомлел — номера-то твои. Мы поехали следом, я все хорошо разглядел,— одна машина тебя обгоняет, а другая отстает. Потом они меняются местами. Они за мемуарами охотятся? — со свойственным ему любопытством спросил он.

Все на работе знали, что свободное время я посвящаю редактированию записок отца. В вопросе Лисичкина ничего крамольного не было.

Я не ответил, только поблагодарил за предупреждение.

Если бы не Лисичкин, мне бы и в голову не пришло следить за кишащими вокруг меня на улице машинами. Все прошло бы незамеченным. Правда, мое знание ничего не изменило, прятать было нечего, бежать никто не собирался. Свое поведение я решил не изменять. Не надо показывать моим преследователям, что они открыты.

Кто это, сомнений не было. Евгений Михайлович Рассказов действовал.

Я решил удостовериться в слежке.

Меня раздирало любопытство. Отнесся я к сообщению, скажем прямо, по-детски. Серьезность ситуации до меня не дошла.

Было очень интересно, как следят. Смогу ли я сразу заметить? Как выделить преследователей из потока машин?

В голове прокручивались эпизоды из детективных фильмов. Перед глазами стоял мужественный, чуть ироничный, не теряющий головы Банионис и его преследователи из боевика «Мертвый сезон». С этим я и отправился на «охоту».

Поехал по Ленинскому проспекту, медленно, еще медленнее, не более сорока километров в час. Есть!!! Серая «Волга» с двумя антеннами держится сзади. При моей черепашьей скорости все меня обгоняют, а она тащится сзади как приклеенная. Наконец, не выдерживает, обгоняет и она. Запоминаю номера. Притормаживаю к обочине. Сзади голубая «Волга» с двумя антеннами не спеша сворачивает в переулок. Через минуту трогаюсь. Вперед почти не смотрю, только назад в зеркало. Так и есть, знакомая «Волга» выползает из переулка.

Все это я продолжал воспринимать как игру. Ездить стал медленно и все искал, когда «она» проявится. Чаще всего я опознавал наблюдателя, хотя часто под подозрением оставалось несколько машин.

Были и трюки с переодеванием. Как-то в мае я ехал в МВТУ на лекцию (я там преподаю уже 25 лет). Сзади подозрительная «Волга». Приглядываюсь — за рулем мужчина, рядом девушка в кофточке, гладко причесанная. Они или нет? Отрываюсь, сворачиваю налево, по Госпитальному мосту пересекаю Яузу и останавливаюсь на автостоянке у училища. Вылезаю из машины, жду. Никого. Вдруг



Продолжение. См. «Огонек» №№ 22, 23.

мимо проносится знакомая машина. За рулем та же девушка, но в свитере, волосы распущены. Молодой человек рядом. Девушку я узнал — это они! Удовлетворив любопытство, я отправился на лекцию.

Отцу я решил ничего пока не рассказывать, не желая волновать его понапрасну. Повлиять на события он не мог, а прерывать работу над воспоминаниями не представлялось возможным. Тем более что такой шаг говорил о нашем испуге.

События нарастали. На работе, видимо, произвели обыск. Заметил, что исчезла из ящика снятая на даче кассета с кодаковской цветной пленкой. У нас в стране ее никто не брался проявить, и она валялась там уже почти год.

Решил сделать вид, что ничего не заметил. Спокойно, без суеты задвинул ящик, может быть, среди моих соседей был осведомитель. Такое совсем не исключено.

Вдруг приходит указание из дирекции — срочно проверить и доложить, не печатают ли отдельские машинистки посторонние материалы.

Видимо, решили проверку в институте для конспирации устроить чужими руками и не учли, что в нашем отделе она пойдет через его начальника, то есть через меня.

С чистым сердцем докладываю:

— Не печатают. Провел необходимую воспитательную работу.

Наши машинистки действительно ничего постороннего не печатали. Одна моя хорошая знакомая, машинистка по специальности, рассказала о начавшихся вокруг нее непонятных происшествиях. На днях она с полдороги вернулась домой, что-то забыла, а у двери копошатся незнакомые люди. Увидели ее и поспешно поднялись этажом выше. Стали звонить в верхнюю квартиру. Я ее успокоил — пустые страхи, тебе померещилось.

Самому все было понятно. Проверяют, хотят удостовериться, нет ли в квартире мемуаров. Их там нет...

Настроение с каждым днем становилось все более скверным. Пока ничего не нашли, но искать они умеют. В нашем же случае даже особого профессионализма не требуется.

Скоро доберутся и до Лоры. Ведь именно у нее хранится то, что они так упорно ищут.

Лора тем временем приболела и попала в больницу. Там она, конечно, не печатала. В конце июня я собрался ее навестить, чтобы заодно предупредить о происходящих событиях.

В тот день меня сопровождала голубая «Волга». Я заметил, как она остановилась у ограды больницы. Пассажиры остались в машине.

Мы гуляли с Леонорой по парку, окружавшему старинное здание. Рассказал ей о происходящих событиях, стараясь не испугать ее. В заключение показал и машину, стоявшую за оградой.

— А я знаю эту машину,— вдруг перебила меня Леонора.— Я ее уже тут видела. Пару дней тому назад мы играли в настольный теннис. Вокруг были все свои. Поэтому я сразу заметила какого-то худощавого высокого мужчину в сером макинтоше и шляпе с большими полями. Какой-то он был странный, прямо как детектив из кино. Он тут покрутился, чего-то долго смотрел на нас, а потом быстренько исчез. Раньше я тут таких типов не видела. Я тогда бросила играть и подбежала к забору. Смотрю, а там в голубенькой «Волге» сидит эта личность в шляпе и макинтоше. Он тут же уехал. Точно, это та же машина,— перепугалась Лора.

Я решил ее успокоить.

— Ничего страшного. Поездят, поездят и перестанут. Ничего предосудительного мы не делаем. Если они хотят выяснить, кто печатает мемуары, пусть выясняют. В этом-то никакого секрета нет. Если бы вместо этого дурацкого детектива меня просто спросили, я бы им прямо ответил. Что скрывать?

На этом мы расстались. Сам я не был так спокоен, как хотел казаться. Что-то готовилось. Но что? Одно ясно — о Леоноре они уже знают.

Через несколько дней после моего визита к Леоноре мне в очередной раз позвонил Евгений Михайлович Рассказов.

Он вежливо попросил встречи, мол, надо выяснить кое-какие детали.

Я не имел ничего против и легко согласился.

— Удобнее это сделать не у нас,— сказал Евгений Михайлович, имея в виду здание на Лубянке,— если вы не возражаете, мы будем вас ждать в гостинице «Москва».

Он назвал этаж и номер. В таком варианте на встречу я шел впервые. Мне было любопытно и несколько жутковато. Поднялся на этаж, дежурная указала нужную дверь, номер ничем не отличался от других виденных мною люксов в этой гостинице: спальня и гостиная.

С Рассказовым был еще один человек. Он представился Владимиром Васильевичем. Во время разговора он почему-то внимательно следил за каждым моим движением.

Вопросы оказались будничными. Было видно, что ответы не очень интересовали моих собеседников.

Всего я не запомнил, но кое-что показалось мне заслуживающим внимания.

— Нет ли у вас новых сведений о Стоуне и Харвее? Не поддерживаете ли вы связи с Харвеем? — начал спрашивать Евгений Михайлович.

Скрывать я ничего не собирался.

— От Стоуна известий не было. Я думаю, у него хватает дел и без меня. А Харвею мы, как и договаривались с ним в Москве, послали на анализ кровь сестры. Пытался созвониться с ним, почти ничего не слышно, расслышал только, что результаты анализа он пошлет по почте. Однако никакого ответа я не получил. Нас это очень беспокоит. Речь идет о здоровье Лены.

Евгений Михайлович посочувствовал мне, но помощи не предложил.

— Скажите, Сергей Никитич,— спросил вдруг его коллега,— вы знаете человека по фамилии Армитаж? Он с вами не встречался?

— Человека с такой фамилией я когда-то встречал, не могу, конечно, сказать, что это тот, кто вас интересует. Одиннадцать лет тому назад, когда я сопровождал отца во время его визита в США, представитель госдепартамента США Армитаж в Нью-Йорке ездил со мной в Бруклин. Там жил коллекционер бабочек, с которым я очень хотел повидаться. Бабочки — мое хобби,— пояснил я.— С тех пор я его не видел и ничего о нем не слышал.

Я был удивлен. При чем тут это? Надо сказать, что вопрос об Армитаже мне задавали и позже. Не знаю, чем он мог так заинтересовать моих собеседников в связи со мной. Даже если он из соответствующих служб, а в этом не было бы ничего необычного, со мной он общался только в рамках протокола. Правда, в старые времена и такой «связи» хватило бы за глаза. Как бы то ни было, Армитажа после 1959 года я не встречал.

— Он сейчас работает в Москве, в посольстве,— продолжал мой собеседник.— Матерый разведчик, как и Стоун. Оба — активные агенты ЦРУ. Если вдруг он на вас выйдет, сообщите нам немедленно.

Я согласился.

— Журналисты вами не интересовались? — осведомился Рассказов.

— Нет.

— Будут интересоваться, сообщите нам.

— Хорошо.

Вот, собственно, и весь разговор.

Только на прощание был задан главный вопрос, как бы походя, между прочим.

— Кстати, как идет у Никиты Сергеевича работа над мемуарами? — спросил Евгений Михайлович, а его спутник впился в меня взглядом.

— Спасибо, ничего. Сейчас он болен, в больнице, так что какая там работа.

На этом мы расстались.

Прошло около двух недель.

11 июля 1970 года, в субботу, мы с женой собирались в гости. День близился к вечеру, когда раздался телефонный звонок.

— Сергей Никитич, здравствуйте. С вами говорит Евгений Михайлович. Нам очень срочно нужно с вами переговорить. Не могли бы вы с нами встретиться?

Сегодня встреча мне совсем не улыбалась. Да и совсем недавно мы говорили, по сути дела, ни о чем.

— Евгений Михайлович, сегодня выходной. Вы меня застали случайно, я ухожу в гости. Давайте встретимся на следующей неделе.

— Нет, нет,— заторопился он,— дело чрезвычайной важности. Произошли некоторые события, я не могу говорить по телефону. Я вас очень прошу.

— Хорошо,— сдался я,— сейчас подъеду.

— Спасибо,— обрадовался Рассказов,— проходите прямо ко входу. Вас там встретят.

Действительно, у огромной металлической с причудливым литьем двери массивного, известного всем советским людям здания меня ждал недавний собеседник из гостиницы «Москва».

Мимо всех постов он провел меня на нужный этаж. Мы зашли в небольшой кабинет Евгения Михайловича. Тут я уже бывал после истории с Харвеями.

Рассказов поднялся из-за стола. На лице расплылось само радушие. Поздоровались, сели. Мой провожатый устроился напротив меня. Все эти приемы уже стали знакомыми.

Евгений Михайлович затянул старую песню. Обо всем этом мы подробно поговорили несколько дней назад. Опять о Стоуне, об Армитаже. Как здоровье Никиты Сергеевича? Спросил что-то о мемуарах.

Я недоумевал: что ж тут срочного? Что случилось? Что им тут, делать нечего? Вслух я этого, понятно, не говорил, безмятежно отвечая на вопросы, и ждал, что же будет дальше.

— Сергей Никитич, с вами хотел поговорить наш начальник. Вы не возражаете?

— Нет, что вы. А кто?

— Заместитель начальника управления.

Мы вышли из кабинета. Поднялись по лестнице на несколько этажей.

Постучавшись в плотно закрытую дверь, Евгений Михайлович пропустил меня вперед. Этот кабинет был побольше, но тоже невелик. Справа у окна письменный стол, слева вдоль стены длинный ореховый дерева с серединой, затянутой зеленым сукном, стол для заседаний — типичный сталинский стиль.

Из-за стола поднялся худощавый человек лет 45—50, на вид интеллигентный.

— Здравствуйте, меня зовут Виктор Николаевич. Прошу.

Мы сели у длинного стола. Третьим теперь был Евгений Михайлович.

Опять начался «светский» разговор о жизни, о работе. Тут я вставил, что два года назад меня помимо моего желания перевели из ОКБ в институт.

— А как вам работается на новом месте? — поинтересовался хозяин кабинета. Чувствовалось, что он все знает обо мне, да и перевод мой, видимо, произошел не без его участия.

К тому времени я освоился на новом месте. Работа мне нравилась, люди тоже. Поэтому я ответил, что претензий у меня нет, а в некотором смысле я даже доволен переменой места работы. Уточнять не стал.

Мой ответ его устраивал — труднее найти взаимопонимание с недовольным, озлобленным человеком.

Наконец он перешел к главному:

— Скажите, Сергей Никитич, где в настоящее время хранятся мемуары Никиты Сергеевича?

Я насторожился — началось. Еще раньше, продумывая варианты поведения, я решил не врать. Запутаешься — хуже будет. Да и роль наивного, недалекого простака больше подходила к моей физиономии. А главное, скрывать мне было нечего.

— Часть мемуаров хранится у меня, часть — на даче в сейфе у Никиты Сергеевича.

— Вы знаете,— Виктор Николаевич понизил голос, напустив на себя таинственный вид,— к нам поступили сведения, что материалы у вас хотят похитить агенты иностранных разведок. Как они у вас хранятся?

Все стало ясно. Меня поразила примитивность аргументации.

— Я их храню в закрытом книжном шкафу. Но это, конечно, не главное. Я живу в доме, где проживают члены Политбюро. Дом тщательно охраняется КГБ. Есть пост у входа, и часовой ходит вокруг дома. Проникнуть в квартиру, чтобы похитить у меня материалы, иностранным агентам будет так же трудно, как и в это ваше здание,— позволил я себе пошутить.

— Ну, знаете, для профессионалов не существует ни охраны, ни замков. И мой сейф не гарантирован на сто процентов.— Дальше он продолжал официальным голосом, сказав, что, поскольку эти мемуары имеют большое государственное значение, в Центральном Комитете принято решение по выздоровлении Никиты Сергеевича выделить ему в помощь секретаря и машинистку для продолжения работы.

Затем от имени Центрального Комитета попросил сдать им хранящиеся у меня материалы, мотивируя это тем, что органы государственной безопасности — это правая рука Центрального Комитета, что об этом не раз говорил и отец. Все, что они делают, делается исключительно с санкции ЦК, по его поручению. В КГБ материалы будут в большей безопасности, и они будут твердо знать, что мемуары не попадут в руки иностранных разведок.

— Я говорю с вами совершенно официально, как представитель Центрального Комитета. Все материалы в целости и сохранности по описи будут возвращены вашему отцу для продолжения работы,— заключил мой собеседник.

Я лихорадочно соображал, что предпринять в этой обстановке, а потом, помявшись, ответил, что он ставит меня в трудное положение, поскольку Никита Сергеевич сейчас в больнице. Посоветоваться я с ним не могу, врачи категорически запретили его волновать. Мемуары — это его собственность, и отдать их без его разрешения я не могу.

Но, очевидно, весь расчет и строился на том, что я не побегу к больному отцу, а уж со мной-то они справятся.

Виктор Николаевич твердо заявил, что он понимает мои затруднения, но ведь речь не идет о сдаче. Имеется в виду передача материалов на временное хранение до выздоровления отца.

В ответ я повторил, что не имею права распоряжаться материалами. Но уж если это — решение ЦК и делу придается такое значение, то, во всяком случае, я прошу устроить мне встречу с Юрием Владимировичем Андроповым. Хотелось бы услышать о гарантиях лично от него. Тем более мы с ним хорошо знакомы.

Я добавил, что всегда с большим уважением относился к Андропову, ценил его как мудрого и интеллигентного человека, а потому уверен, что он свое слово не нарушит.

Как оказалось, такая просьба не застала врасплох Виктора Николаевича.

— Встретиться с Юрием Владимировичем нет никакой возможности. Он в отъезде. Уехал на встречу с избирателями,— пожал он плечами.

Я молча кивнул. Они оба выжидающе смотрели на меня.

Конечно, думал я, словам Виктора Николаевича верить нельзя, но и отмахнуться от них невозможно. Допустим, я откажусь и, самое невероятное, они отступятся. Так ведь мне эта публика знакома — материалы в любой момент могут быть похищены «иностранной разведкой». И уж тогда у меня не будет никаких концов. Да еще и меня же в этом обвинят...

С другой стороны, предложение о помощи ЦК заманчиво... Мы с отцом такой вариант не раз обсуждали... И с Кириленко он об этом говорил... И все же не могу я без разрешения отца принимать подобное решение. Брать на себя такую ответственность!.. Ведь отец отказал Кириленко... Впрочем, тогда ведь речь шла о запрете, а сейчас... Но кто даст гарантии?..

Затянувшееся молчание прервал Евгений Михайлович.

— Что же вы молчите? — угрюмо спросил он.

— Да вот раздумываю, как мне поступить...

— У вас нет другого выхода! — вырвалось у него.

Виктор Николаевич посмотрел на своего помощника с укоризной.

Я улыбнулся.

— Ну... другой выход у меня пока что все-таки есть.— Я показал на дверь.

Виктор Николаевич забеспокоился:

— Сергей Никитич, решение за вами. Мы вас просто предупреждаем о создавшейся ситуации и возможных последствиях.

Вид у обоих был очень обеспокоенный...

Виктор Николаевич сменил тему разговора, заговорил о Соединенных Штатах, где он проработал много лет и лишь недавно вернулся домой.

Он стал рассказывать о своих впечатлениях. Они сводились к тому, что жить в Америке хуже, чем в Советском Союзе. И еда менее вкусная — все мороженое.

Я механически кивнул — голова была занята другим.

Если не отдать сейчас материалы, прикидывал я возможные последствия, они не успокоятся, будут искать, и один бог знает, чем это кончится. Работать не дадут. Леонору они, понятно, знают. Найти другую машинистку едва ли удастся — уж они постараются. Если отдать, они скорее всего больше искать не будут. Можно будет переждать какое-то время и вернуться к работе. И, пожалуй, пора дать сигнал к опубликованию... Поговорить бы с отцом... Но нет, нужно было на что-то решаться. Если отдам материалы, они будут довольны — победили. И сразу доложат. А уж отцу я как-нибудь все объясню.

Словом, после подобных размышлений я решился на этот непростой шаг, и мне вдруг стало легче.

— Хорошо,— сказал я.— Я подумал. Если уж за материалами действительно охотятся иностранные разведки, пусть они пока полежат у вас. Раз вы говорите, что так надежнее.

Тут я вспомнил, что надо будет сейчас ехать за папками и пленками домой, а там меня ждет жена, чтобы идти в гости. Придется объясняться, чего мне никак не хотелось.

Я наивно попросил перенести передачу материалов на завтра, на что, естественно, получил категорическую ссылку на чудовищные происки врагов, которые только и ждут сегодняшней ночи, чтобы наконец-то реализовать свои черные замыслы. Делать было нечего. Я согласился, сославшись, впрочем, на непредвиденное в такой ситуации обстоятельство — часть материалов находится у машинистки Леоноры Никифоровны Финогеновой.

Мне было спокойно сказано, что эти материалы в распоряжении моих гостеприимных хозяев — они накоротке к ней заехали и попросили их сдать.

— Это нечестно,— вырвалось у меня,— вы не имели права. Вы должны были действовать только через меня.

Виктор Николаевич постарался сгладить допущенную неловкость, сказав, что он понимает мое возмущение, но время не ждет. Дорога каждая минута. Существует компетентная информация о том, что иностранная разведка может вот-вот похитить этот материал.

Последний довод окончательно «убедил» меня, и я, начав «сотрудничать», заявил, что еще часть материалов находится на литературной обработке у моего приятеля, кинодраматурга Вадима Трунина.

О Трунине они, как оказалось, не знали!.. Правда, за последние месяцы мы с ним редко встречались.

Мои собеседники забеспокоились.

— А где он живет? — последовал вопрос.

Трунин снимал квартиры то в одном месте, то в другом и недавно снова поменял адрес, где я еще не успел побывать. Устроился он где-то на Варшавке. Я знал только номер телефона.

Евгений Михайлович записал его и вышел из кабинета. Через несколько минут он вернулся и сообщил, что Трунина нет в Москве, а вернется он на будущей неделе.

Затем меня спросили, давно ли я отдал ему материалы.

— Осенью 1969 года.

Кивнув и подумав, Виктор Николаевич предложил установить охрану у дома товарища Трунина. И как только он вернется, я должен буду забрать у него материалы и передать их под охрану моим собеседникам.

Я согласился.

Оставалась последняя операция — сдать мои материалы и получить расписку.

— С вами поедет Евгений Михайлович,— решил Виктор Николаевич.

Через десять минут мы были у моего дома. Я поднялся на шестой этаж и, стараясь не шуметь, незаметно прошел в комнату: не хотелось объяснять все жене. Открыл шкаф, и сердце сжалось от горечи — сколько души, сил и времени вложено в эти папки. Смертельно не хотелось их отдавать. Но... давши слово — держись... Набрались две большие сумки с папками и магнитофонными катушками.

Когда мы вернулись к Виктору Николаевичу, у него на столе уже лежали материалы, изъятые у Финогеновой. И тут среди больших магнитофонных бобин с воспоминаниями отца я заметил еще одну, поменьше. О ней я совсем забыл...

Примерно год назад по своим черновым записям я надиктовал на магнитофон рассказ о событиях, происходивших в октябре 1964 года, свидетелем которых мне случайно довелось стать: на столе перед Виктором Николаевичем лежала эта пленка. Я заволновался, как я мог забыть! Я был уверен, что содержание мемуаров отца не может вызвать отрицательной реакции властей. Ведь его рассказ был о «делах давно минувших дней» и современные руководители там не упоминались даже мельком. С моей пленкой все обстояло иначе: я говорил о событиях, происшедших совсем недавно, в октябре 1964 года. У меня вовсю фигурировало нынешнее высшее руководство. Мало того, в заключение я высказывал казавшийся мне очевидным вывод, что все происшедшее не имеет никакого отношения к принципиальной политике партии, а представляет собой просто «дворцовый переворот».

В тот момент я наивно считал, что пленки отца будут распечатаны и внимательно изучены, если не в ЦК, то в КГБ как минимум. А тогда и моей пленке не избежать чужих ушей. Я лихорадочно соображал: что же делать? Оставалось надеяться на чудо...

Я, правда, сделал безнадежную попытку забрать свою пленку, объявив, что эта маленькая бобина попала не по адресу. Тут записаны мои заметки, и я прошу вернуть ее мне и даже протянул руку к коробке.

Но возвращать мне никто ничего не собирался. Мало того, своей оплошностью я невольно привлек внимание к этой катушке. В результате моей собственной глупости из всей массы материалов изученной оказалась только моя пленка. В этом я позднее убедился...

Втроем мы рассортировали материалы, отдельно сложив отредактированный текст, отдельно черновики, катушки с пленкой, пронумерованные мной по хронологии записей. Подсчитали общее количество страниц и катушек с пленкой.

— Напишите расписку, давайте ее подпишем и разойдемся,— устало попросил я.

— Нет, нет,— возразил Евгений Михайлович,— напишите ее сами, своей рукой.

Я согласился и предложил примерно такую формулировку: «В целях обеспечения сохранности и во избежание захвата иностранными разведками органы государственной безопасности обратились ко мне с требованием передать им мемуары моего отца, Хрущева Никиты Сергеевича»...

Однако моя редакция не устроила Евгения Михайловича, предложившего собственную.

Вот как она выглядела в окончательном виде: «Хрущевым Сергеем Никитичем 11.7.70 г. по просьбе представителей Госбезопасности, в целях обеспечения сохранности и безопасности, переданы на хранение магнитофонные пленки и текст, содержащий мемуарные материалы Хрущева Никиты Сергеевича. Материалы переданы лично Попову * Виктору Николаевичу и товарищу Рассказову Евгению Михайловичу. Магнитофонные пленки на бобинах диаметром 13 см — 18 штук, на бобинах диаметром 18 см — 10 штук, печатные материалы в 16 папках общим объемом в 2810 страниц. Кроме того, в КГБ переданы Финогеновой Леонорой Никифоровной, работающей по моей просьбе над мемуарными материалами, 6 больших бобин с продиктованным текстом и 929 страниц печатных материалов. Часть отпечатанных материалов в количестве 10 папок, примерно полтора экземпляра мемуаров, мною были переданы осенью 1969 года для литературной обработки писателю Трунину Вадиму Васильевичу, которые, по его возвращении в Москву, также будут сданы на хранение в КГБ. Кроме вышеуказанных лиц, материалы никому не передавались. Все перечисленные материалы будут возвращены автору по его выздоровлении. 11 июля 1970 г.».

Подписи — В. Попов, Е. Рассказов, С. Хрущев.

Попов вызвал секретаря, поручил отпечатать расписку. Дожидаясь, когда она будет готова, мы пили кофе, разговаривали на общие темы.

Виктор Николаевич не мог скрыть удовлетворения от удачного завершения операции, но особенно откровенно радовался Евгений Михайлович.

Поговорили о мемуарах, сошлись на том, что они представляют большой исторический и политический интерес. Виктор Николаевич еще раз подчеркнул, что КГБ действует только по указаниям ЦК и все их действия полностью согласованы с Центральным Комитетом. Он снова вернулся к тезису, что и сам Никита Сергеевич, говоря о Комитете госбезопасности, подчеркивал, что это правая рука ЦК. Потом перешли на разговоры о США. Виктор Николаевич снова пожаловался, что продукты в США менее вкусны, чем в Советском Союзе. И вообще работать там тяжело: все время слежка, вся жизнь в напряжении.

— Ничего, слежка — это не так страшно. Надо только привыкнуть. Сколько времени вы за мной следили, и ничего со мной не случилось,— подначил я.

На лицах моих собеседников отразилось беспокойство:

— Нет, что вы! Мы за вами никогда не следили. Это вам показалось.

— Ну, не будем обострять вопрос. Пусть каждый останется при своем мнении.— Я не стал спорить.

Время шло. Текст все еще печатали. И тут я затронул «больную» тему. Незадолго до нашей встречи в США попросил политического убежища капитан КГБ Носенко, сын бывшего министра судостроительной промышленности. Шума было много. Вот я и полюбопытствовал: как же это могло произойти и что он сейчас делает?

Виктор Николаевич насупился и заявил, что Носенко — растленный тип. Он нарушал законы в личных целях, считая, что как работнику органов ему все сойдет с рук. Вот и докатился до измены.

Я поддержал его, согласившись, что предательство нельзя оправдать. Но и нарушение законов в государственных интересах — путь очень скользкий. Не знаешь, где остановишься.

Тут почему-то мои хозяева не ответили мне взаимностью — замечание мое повисло в воздухе. Разговор зачах. К счастью, подоспел печатный текст расписки. Мы вторично расписались. Затем меня проводили до дверей, и мы расстались...

Заехав за женой, я отправился в гости. Мы, конечно, безнадежно опоздали, поскольку визит к Виктору Николаевичу занял несколько часов.

В гостях мне было не до веселья. Я снова и снова проигрывал в уме происшедшее. Казалось бы, теперь они могут успокоиться...

Но как сложилась ситуация с Лорой Финогеновой? За себя я не беспокоился, но кто знает, как они действовали с ней? Я очень волновался. А кроме того, меня мучил главный вопрос: «Что делать дальше?»

Тут, увы, посоветовать мне не мог никто. Отец в больнице, и разговор с ним исключался. Предстояло решать самому.

Итак: давать ли санкцию на подготовку книги к печати или повременить? Ясно, что опубликование книги вызовет большой шум.

Правда, еще два года назад мы обсудили с отцом все детали. Но наступил ли именно сейчас критический момент?

А с другой стороны, публикация покажет всему миру, что мемуары существуют, и, значит, они будут жить.

Несомненно, это вызовет переполох среди моих новых «друзей». Они-то, бедолаги, уверены в полной победе, а тут такой конфуз...

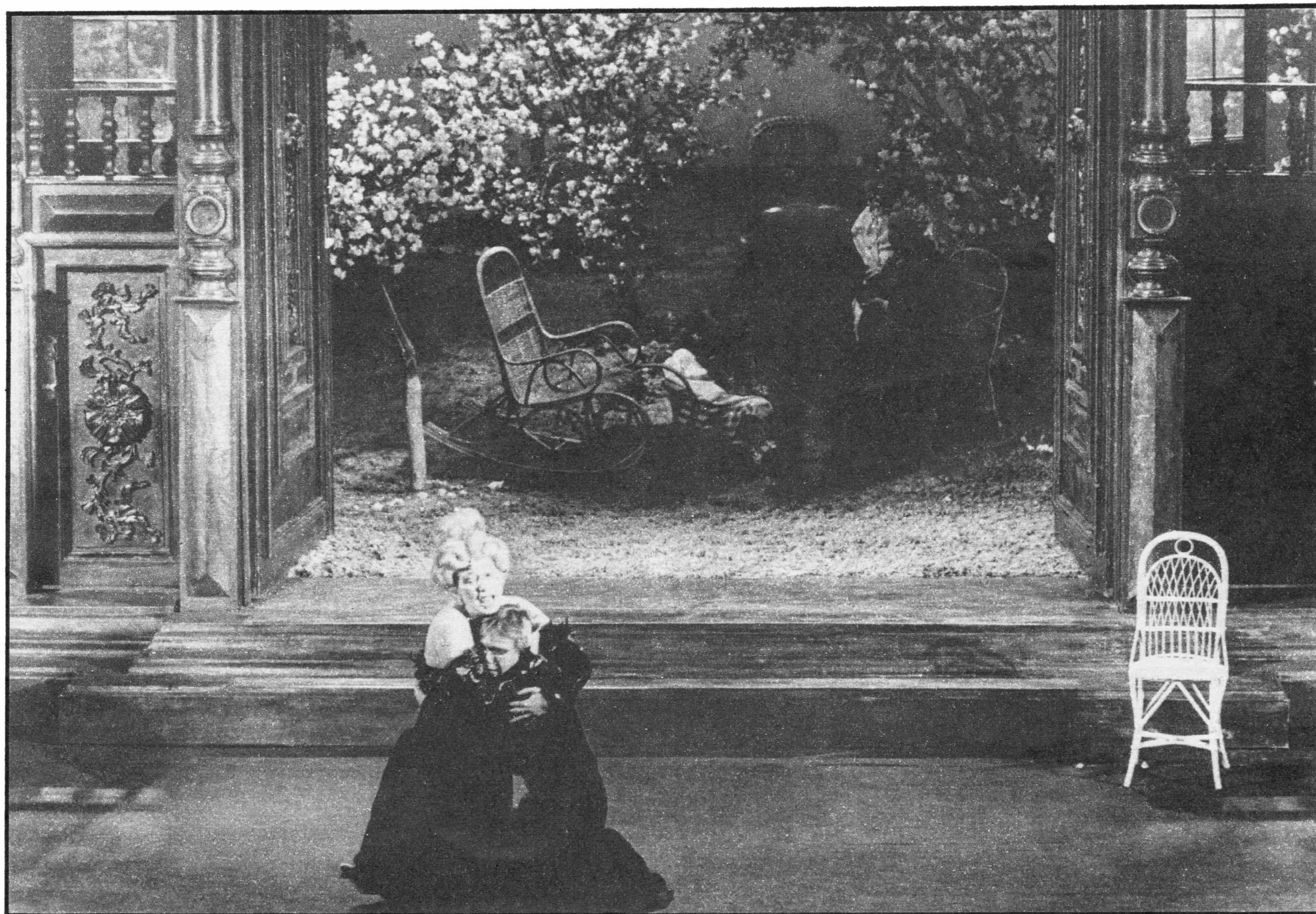
Словом, промучившись в гостях, а потом и полночи дома, я решил, что происшедшее нужно считать критическим моментом и, следовательно, не ожидая дальнейшего развития событий, незамедлительно приступить к подготовке публикации книги на Западе. Ясно было, что ждать больше нечего. Ситуация к лучшему не изменится.

Конечно, положение у меня было щекотливым: приходилось решать за автора, но отец выйдет из больницы только в конце лета, а то и осенью. Время будет безвозвратно упущено. Кто знает, что еще придумают Попов с Рассказовым.

Короче говоря, сказано — сделано: в западное издательство ушел условный сигнал.

Продолжение следует.

* **Фамилии изменены.**



Александр
МИНКИН

СЕКРЕТ

Фото
Александра
ИВАНИШИНА

В прошлом году некто Марат Акчурин вздумал сеять разумное, доброе и т. д. Не состоя на государственной службе, он не имел начальства, и, значит, посоветоваться ему было не с кем. Видно, поэтому он и решил издать Фрейда. Чудом получил разрешение. Фрейд взошел тиражом 100 000 экземпляров; хоть и не мак, но тоже опиум для народа. Пока печатали — начальство передумало. Тираж арестовали. Присвоили. Продали (награбленное, между прочим, продали). ...Тут пропускаем много фантастических подробностей... В конце концов деньги удалось вырвать из лап Госкомпечати. А куда капитал девать? Тут навстречу — человек по имени Леня Трушкин, актер Театра имени Маяковского. Мечтает «Вишневый сад» поставить. Стал объяснять, что интереснее «Вишневого сада» ничего нет на свете. Так рассказал, что Акчурину захотелось это увидеть.

— Поставишь спектакль — приду посмотреть.

— Безнадежное дело. Не дают. Я уж пытался.— Леня загрустил.

— А сколько это может стоить? — спросил продавец психоанализа, ощутив в себе что-то Саввоморозовское, что-то шампанское — что-то вроде головокружения от успехов...

...Приятно писать для наших читателей. Все такие культурные, всем персонажи Чехова так знакомы — ничего объяснять не надо. Три сестры — в Москву, в Москву! Дядя Ваня — мы увидим небо в алмазах! Заречная — я чайка! Все как родные. Даже в театр ходить не надо. Все равно Гаев примет нелепую позу и высокопарно воскликнет: «Многоуважаемый шкаф!»

Заметили ли вы, дорогие... уже не товарищи, еще не господа, что не так уж давно, лет 15 тому назад, страна разучилась переплетать книги? Купишь, принесешь, положишь — глядь: переплет начинает коробиться, как ломтик засыхающего сыра (если кто помнит, как сыр засыхает).

А раньше переплеты были прекрасные: ткань, тисненая кожа... В книгах были замечательные поля, на которых присяжные поверенные, почитывая в тюрьме или бездельничая в ссылке, могли писать свои «Nota bene!», «ха-ха» и прочие премудрые замечания.

Почему ж переплеты стали коробиться? Почему на ощупь они, как липкая клеенка в детдомовской столовке? Видно, умер последний, кто способ знал. А теперь — все. Никто не помнит, не умеет, не хочет. Да и зачем?

Но если открыть книжный шкаф (шкафы тоже очень сильно изменились, уважать их никак невозможно), взять старую книгу, раскрыть и —

ЛОПАХИН. Я весной посеял маку тысячу десятин и теперь заработал сорок тысяч чистого. А когда мой мак цвел, что это была за картина!

Позавидуешь! И денег кучу заработал, и наслаждение получил,— свободный предприимчивый человек. Капитал девать некуда. Вот сейчас Пете Трофимову предложит, просто так, без отдачи, неизвестно на что, на революцию, что ли?

Как просто было Лопахину! Захотел — мак посеял, захотел — еще чего-нибудь. Цель его была эгоистическая — заработать. Но от этого эгоизма в стране было всего полно. Просто же ему было потому, что никого он не спрашивал: можно ли посеять? И никто ему не указывал, что и как. И никто не запрещал. Никто не говорил: «Не положено!»

...Вот он — шкаф. Старинный огромный книжный шкаф. Теперь таких нету. Не осталось. Большинство сожгли, порубили на дрова — только щепки летели от старого благородного дерева. А те немногие, что уцелели, понимающие люди вывезли за границу; там они дорого стоят. Да хорошо, что вывезли,— в нашу крупнопанельную, малогабаритную жизнь такой шкаф не влезет. Велик.

Вот он — во всю сцену, от кулисы до кулисы, от подмостков до портала. Гулливерский шкаф в стране лилипутов.

Это дом. В нем живут люди.

Распахиваются дверцы, огромные, как двери собора, и мы видим: из книжного шкафа медленно движутся к нам персонажи «Вишневого сада». Раневская — Татьяна Васильева, Гаев — Николай Волков, Фирс — Евгений Евстигнеев, Лопахин, Епиходов, Шарлотта... За спиной у них — бескрайний вишневый сад, цветущий фиолетово-розовым, над головой у них — бескрайнее небо, фиолетово-синее, предрассветное. Все такие красивые, все такое прекрасное — даже жалко знать, что все это обречено.

Все это не существует больше. Осталось там, в старом книжном шкафу, в старых замечательных книгах. В прошлом. Красивая исчезнувшая жизнь. Красивые исчезнувшие люди.

Появись этот спектакль лет семь назад (что абсолютно исключено), как приятно было бы писать об актерских работах. Блестяще играют. Ярко, тонко, остроумно, талантливо... Но теперь не до того. Некогда. Надо сказать главное. Надо сказать — о чем.

О чем? Ну, уж это-то всем известно.

Еще со школы. Вырождающаяся аристократия (что уж в ней такого вырождающегося...— поди пойми) уступает место молодому капитализму (в лице Лопахина). И всякий раз, где бы ни играли «Вишневый сад», в Москве ли, в провинции ли, всякий раз, что Лопахин объясняет, как надо нарезать сад на участки под дачи, и предрекает, что вскоре дачник «размножится до необычайности», всякий раз в этом месте по залу пробегает смешок. Это люди, впервые знакомящиеся с пьесой, восторгаются прозорливостью Чехова и потом, выходя на антракт и вставая в гигантскую буфетную очередь, радостно сообщают друг другу: классика всегда современна!

Больше всего мне хотелось избежать этой формулы «классика всегда современна» — и вот не удалось. Даже дважды написалась проклятая школьная фраза.

Но ведь это как сыграть! Сыграешь **сладкая, душистая... Способ тогда знали...**

РАНЕВСКАЯ. А где же теперь этот способ?

ФИРС. Забыли. Никто не помнит.

Забыли! Как не забыть, ежели всех убили, кто знал и умел.

И на кой черт нужен теперь этот огромный сад? Толку от него никакого. Вырубить! Аня — по глупости — жалеет.

АНЯ. Я любила его так нежно, мне казалось, на земле нет лучше места, как наш сад.

ТРОФИМОВ. Вся Россия наш сад.

Неприятно, даже страшновато прозвучала знаменитая оптимистическая фраза. С одним-то садом управиться не умеет, а ему всю Россию подай! И кому? Недоучка, демагог, фразер... Да только ли фразер? За что, интересно бы знать, его исключили из университета?.. Петя агитирует; Аня слушает новое слово, разинув рот. Петя витийствует, захлебываясь трескучими фразами из брошюр; Аня начинает дергаться в такт его речам...

«Вся Россия наш сад» — впервые эта ликующая фраза демагога прозвучала, как партийный лозунг. И впервые же на нее отозвалась в мозгу другая ликующая фраза: «Всю Россию потребуем!» Это вопит в восторге от неограниченной власти над людьми участковый Расплюев, собираясь всех граждан поголовно допросить и освидетельствовать. (Сегодняшняя ситуация заставляет меня заметить в скобках, что и Петя Трофимов Чехова, и Расплюев Сухово-Кобылина — русские. Не осетины, не евреи, не латыши. И если Петю, согласен, соблазнили марксиды (словечко Герцена), то уж Расплюев-то, как и М. Скуратов, отродясь ни одной брошюрки не читал, и его следственно-пыточное упоение — родное, не заемное.)

...Витийствует Петруша Трофимов (случайный ли тезка младшего Верховенского — фашиста Петра Степановича, родившегося от идеалиста Степана Трофимовича, случайный ли тезка? — думаю я теперь), витийствует Петруша, и понятна становится реплика Раневской.

РАНЕВСКАЯ. Вам понадобились великаны... Они только в сказках хороши, а так они пугают.

...В последнем акте все окончательно встает на свои места.

Грусть-тоска. Двери настежь. Дом оставляют. Вещи сложены. Раневская и Гаев с невыносимой горечью готовятся покинуть родину.

РАНЕВСКАЯ. Минут через десять... (через две страницы опять). **Еще минут пять можно...** (через три страницы). **Я посижу еще одну минутку...**

Разрешения спрашивает, как у товарища начальника. Как перед казнью. Кто уезжал — тот поймет.

И — появляется Аня. Гладкая (новая!) прическа с узлом на затылке. Черная кожаная куртка. Сухой, назидательный, не приемлющий сантиментов тон. В руках брошюра и тетрадка. Среди чуждых страданий — невозмутимо сидит девушка в кожанке и конспектирует.





талантливо — будет современно. А бесталанно — так будет пыльная ветошь, восковые мумии, храп в партере. Укажите мне такого зрителя, который не спал бы на бездарной классической постановке,— я такого еще не видал. Дамы, впрочем, выдерживают, ибо для них главное — вести себя прилично.

...Мне кажется, это мы сами делаем спектакль современным. Когда на сцене не мертвые куклы, механически произносящие чужие слова, когда на сцене живые, бесконечно интересные люди, они — и вольно, и невольно — нагружают классический текст сегодняшними страстями. А мы — тоже живые и сегодняшние — отзываемся душевным и интеллектуальным резонансом. Ассоциации...

«Вишневый сад», о котором пишу, возник после двух Съездов народных депутатов (как бы кого ни коробило такое вульгарное заявление). Когда Гаев — Волков, обращаясь к многоуважаемому шкафу,— конечно, не к шкафу, а к нам! — заговорил, запинаясь и мучаясь, об идеалах «добра, справедливости и общественного самосознания», а близкие отвели глаза, а наглый холуй и хам Яша глумливо заржал... Как хотите, а сцена была слишком узнаваема.

...Дачно-экономические планы Лопахина всегда живо воспринимаются советской публикой (оставляя иностранцев совершенно равнодушными). Но только в этом спектакле и старческое бормотание Фирса наполнилось горьким сегодняшним смыслом.

ФИРС. В прежнее время, лет сорок — пятьдесят назад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили и, бывало, сушеную вишню возами отправляли в Москву и в Харьков. Денег было! И сушеная вишня такая была мягкая, сочная,



Кого конспектирует — Бог весть. Но что брошюру о всеобщем счастье и светлом будущем всего человечества — несомненно.

РАНЕВСКАЯ. Уезжаю я с двумя заботами. Первая — это больной Фирс.

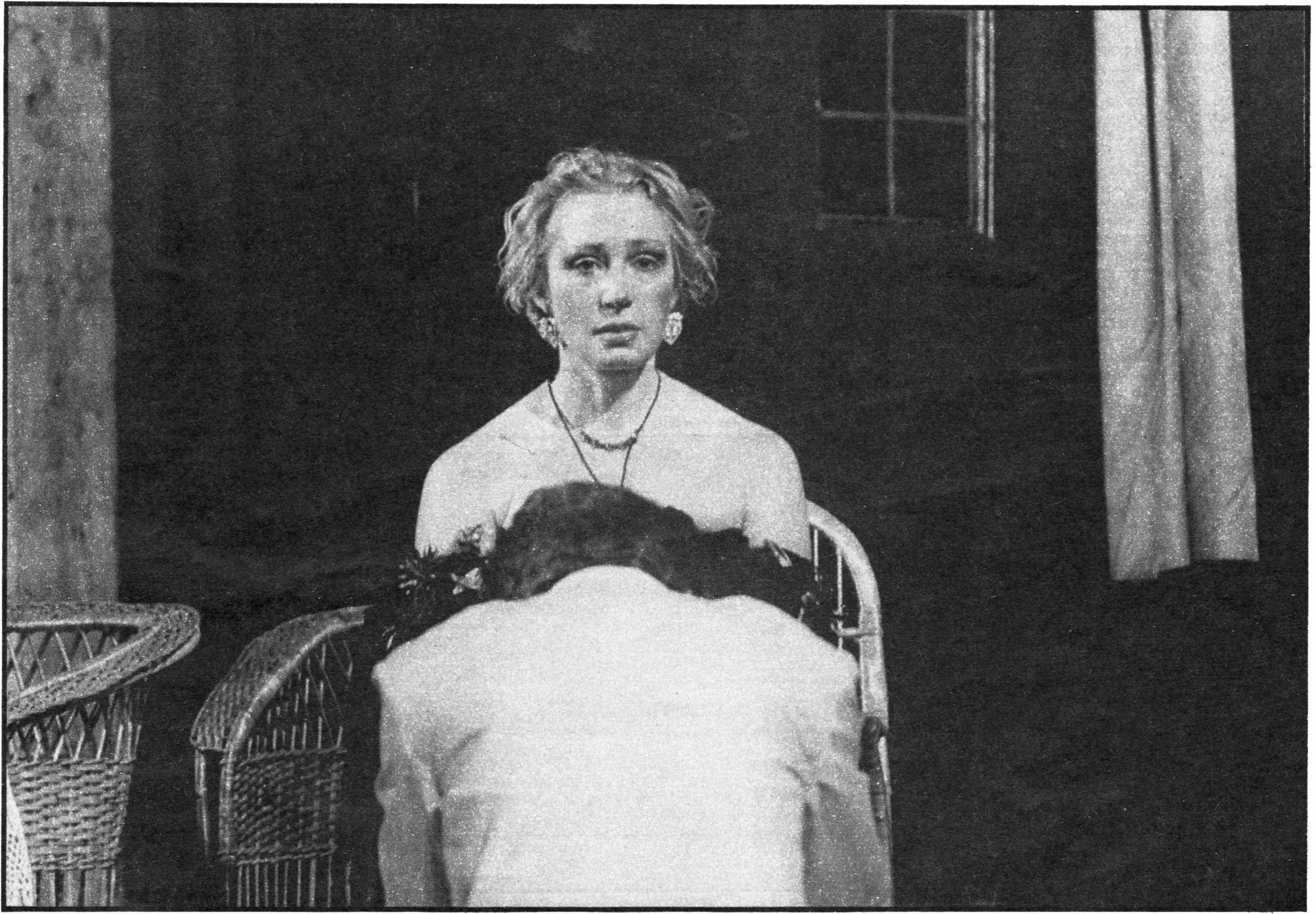
АНЯ (не подымая глаз от тетрадки, сухо, отчетливо). **Мама, Фирса уже отправили в больницу. Яша отправил...**

Замечательно решена мизансцена! Милая девушка так погрузилась в теорию всеобщего счастья, что ей не до «отдельного» старика. Кроме того, теория предусматривает, что все будут радостно выполнять и перевыполнять свои обязанности. Теория никак не учитывает свойства отдельного Яши.

Конечно, не только Аня и Яша виноваты, что Фирса забыли (убили). Но предельно наглядно: вот чем оборачиваются благостные теории, проходя через чистые головки курсисток и кончаясь в руках подонков-исполнителей.

Считалось, и эта смерть старика в заколоченном доме лишний раз обвиняет господ, доказывает бездушность вырожденцев. И в некоторой степени оправдывает их скорую общую гибель. Туда им и дорога, раз они представителя народа не пожалели. Конечно, конечно, они виноваты. Но в чем? В том, что привыкли доверять! Они выросли в мире, еще не поставленном на всеобщий учет и контроль. Еще не было в русской речи милой поговорки «доверяй, но проверяй».

Господа распорядились госпитализировать старика («первая забота»!), они



даже справились, сделано ли это, и получили заверение. Они и вообразить не могут, что Россия нуждается в 18 миллионах контролеров для поддержания порядка, похожего на хаос.

Литературная гибель Фирса оправдывала в глазах поколений советских школьников последующее реальное уничтожение класса, то есть десятков тысяч дворян. Но — и это непременно подчеркивалось — гибнущий Фирс сочувствия почти не заслуживал. Относиться к нему следовало по-Яшиному: «Хоть бы ты поскорее подох». Дело в том, что Фирс — добровольный раб: «не согласился на волю, остался при господах». Добровольный раб — холуй и хам — такое отношение к Фирсу упорно внушали нам. Что Фирс не хам — это, кажется, всякому видно (пойдите посмотрите на игру Евстигнеева!). А по-моему, и не холуй. Ведь он перед Гаевым не унижается, не заискивает, не лебезит. Он заботится, чтоб сливки к кофе были; он Гаеву пальто подает — да, но потому что любит. Любит больше, чем сына, любит, как внука. («Меня женить собирались, а вашего папаши еще на свете не было».)

Вот в чем вина Фирса перед советскими учителями и учениками. Представитель народа, крепостной, должен ненавидеть помещика и при всяком удобном случае подпускать ему красного петуха. Иное поведение расходится с предписаниями Теории и, следовательно,— непростительная дерзость. Так что и Фирса жалеть нечего. Забыли — туда ему и дорога.

«Всему на этом свете бывает конец»,— говорится в пьесе.

Правда. Но с безнадежной горечью думаю, что Фирс был последним, кто знал секрет сушеной вишни — сочной, сладкой, душистой... Показалось никому не нужным, никто даже не выслушал. Фирса «забыли», и секрет утратился навсегда.

А Петя, незаметно переложив револьвер из кармана в карман, прощается с Лопахиным. И интонации у студента такие, что энергичному капиталисту, новому помещику становится не по себе, хоть он и не видел револьвера.

«Выходите, господа...» — торопит Лопахин. Звучит, как «на выход, с вещами!».

...Напрасно радуется буржуй Лопахин — не долго ему володеть. Напрасно обольщается Петя, напрасно зубрит марксизм обольщенная Аня. Россия достанется не им. На сцене присутствует Яша — глумливый лакей.

Даже удивительно, как просто и естественно в этом спектакле продолжился процесс уничтожения, или — если угодно — смены. Гаева сменяет Лопахин — это так, это мы проходили. Но никогда почему-то не думали, что и Лопахинская смерть — вот она, в очках и в толстовке. И уж вовсе в голову не приходило, что Яша и Петю, и Аню кокнет (или — на лесоповал).

Да и Яша еще этого не знает. Он на Петю и не глядит. Он глядит на Раневскую — может, возьмет в Париж. Глядит на Лопахина — может, возьмет на службу. Он глядит туда, где власть и деньги. Туда, где авось обломится. Петю он за человека не считает — мусор. Но когда этот мусор придет к власти, лакей Яша будет стелиться, угадывать желания и даже выучит нехитрый набор слов (по Аниному конспекту).

И уж от Яши пощады никому. В первом акте его цапнула за палец собачка Шарлотты — очаровательный ученый пуделек. Яша сразу ко всему на свете интерес потерял, кроме укушенного пальца. Ну а потом, естественно, нашел веревочку, сделал петельку и ночью... да не в лесу, а прямо перед окном Шарлотты. Это он умеет. Да еще сигары курить и пить шампанское на халяву и девок щупать. Абсолютно без морали. Абсолютно без идей. Простой — и в этом его сила. И всем нужен — и Раневской, и Лопахину. И Пете скоро понадобится — потому как холуй всегда нужен, даже если противен.

Яша — работа Георгия Мартиросьяна. На программке спектакля по-русски написано «ведущие артисты московских театров», а по-английски «moscow theaters superstars». Нельзя сказать, чтоб уж все исполнители — «superstars», нет, конечно. Но рядом с великолепными мастерами: Васильевой, Евстигнеевым, Волковым (Гаев — одна из лучших его ролей, так прекрасно он когда-то давно играл у Эфроса), рядом с ними замечательно проявили себя Марина Игнатова (Варя), Николай Стоцкий (Трофимов), Леонид Сатановский (Пищик)... Есть и полуудачи, есть и неудачи, есть слишком грубые, слишком лобовые ходы, но о них говорить не хочется.

Постановка роскошная: декорация — старинный шкаф-дом; вишневый сад, цветущий для красоты персиковыми цветами; свет, мебель — все по высшему классу, кроме костюмов.

Невероятно, этот «Вишневый сад» — первая постановка Леонида Трушкина.

Это первый (после огромного перерыва!) случай антрепризы. Актеры приглашены на один спектакль, и платят им не по госрасценкам.

Таков «Вишневый сад», принадлежащий продюсеру Марату Акчурину — директору фирмы «Культурные программы».

Замечательный контраст жалобам чиновников и депутатов, что на культуру денег нет. Нет? Напечатайте!

А теперь

ЭПИЛОГ и разгадка СЕКРЕТА

После овации счастливые зрители: Гафт, Джигарханян, Ширвиндт, Мишулин и сотни других, менее известных соотечественников, сбежавшихся поглядеть, на что способна антреприза, пошли домой. А советское ТВ захотело снять две-три сцены крупным планом. Актеры собрали остатки сил, настроились, и появилась администратор ДК МИИТ с самой знаменитой советской репризой на устах каменного, злого лица:

— Не положено! Спектакль окончен — освободите помещение!

На сцене, как оплеванные, стояли смертельно усталые талантливые люди, не имея сил спорить. Стоял Евстигнеев, каждый выход которого — счастье для зрителей. В партере оторопели режиссер и операторы ЦТ, осветители, монтировщики; лезли глаза на лоб у Трушкина, директор театра Рогов и продюсер Акчурин убеждали, умоляли. Все (и я в том числе) как идиоты повторяли: почему? почему? Надеясь, видимо, услышав доводы, опровергнуть их. Но не тут-то было. «Не положено!» — и все.

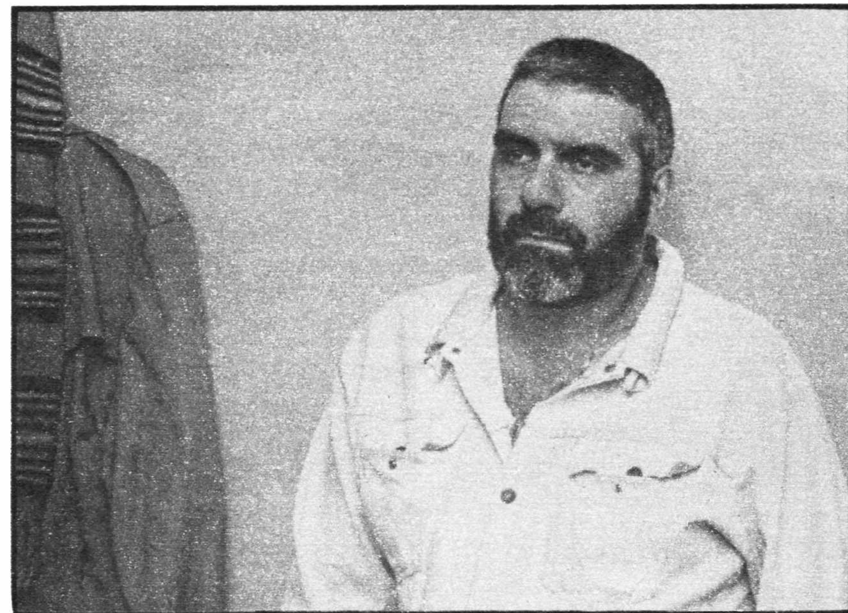
Все было бессильно перед этой Яшиной внучкой, дочкой Шарикова. Казалось, мы все вот-вот сойдем с ума, и казалось, что именно этого она и добивается. Какой там Чехов, какой там Фрейд?! Пятый акт разыгрывался по Кафке.

...А теперь скажите, что осталось от «Вишневого сада»?

РАНЕВСКАЯ. О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!..

Ведет рубрику
Виктор ЕРОФЕЕВ

ДАР ОРГАНИЧЕСКОГО БЕЗЗЛОБИЯ



В. ЕРОФЕЕВ: ***Расскажите немного о себе. Где вы жили до отъезда?***

С. ДОВЛАТОВ: Я родился в эвакуации, в Уфе. С 1945 года жил в Ленинграде, считаю себя ленинградцем. Три года жил в Таллинне, работал в эстонской партийной газете. Потом меня оттуда выдворили: не было эстонской прописки. Вообще-то мать у меня армянка, отец еврей. Когда я родился, они решили, что жизнь моя будет более безоблачной, если я стану армянином, и я был записан в метрике как армянин. А затем, когда пришло время уезжать, выяснилось, что для этого необходимо быть евреем. Став евреем в августе 1978 года, я получил формальную возможность уехать.

— А вот сейчас, в связи с событиями в Армении, ваша армянская кровь как-то дает о себе знать?

— Я знаю, что это кому-то кажется страшным позором, но у меня никогда не было ощущения, что я принадлежу к какой-то национальности. Я не говорю по-армянски. С другой стороны, по-еврейски я тоже не говорю, в еврейской среде не чувствую себя своим. И до последнего времени на беды армян смотрел как на беды в жизни любого другого народа — индийского, китайского... Но вот недавно на одной литературной конференции познакомился с Грантом Матевосяном. Он на меня совсем не похож — он настоящий армянин, с ума сходит от того, что делается у него на родине. Он такой застенчивый, искренний, добрый, абсолютно ангелоподобный человек, что, подружившись с ним, я стал смотреть как бы его глазами. Когда я читаю об армянских событиях, я представляю себе, что сейчас испытывает Матевосян. Вот так, через любовь к нему, у меня появились какие-то армянские чувства.

— Значит, вы себя чувствуете как бы абстрактно-русским?

— Я долго думал, как можно сформулировать мою национальную принадлежность, и решил, что я русский по профессии.

— А что это значит — русский по профессии?

— Ну, я пишу по-русски. Моя профессия — быть русским автором.

— Русский автор — значит, подразумевается и русская культура, русские писатели, за вами стоящие?

— С одной стороны, за мной ничего не стоит. Я представляю только себя самого всю свою жизнь и никогда, ни в какой организации, ни в каком содружестве не был. С другой стороны, за мной, как за каждым из нас, кто более или менее серьезно относится к своим занятиям, стоит русская культура. Отношение к которой очень меняется. Когда я жил в Ленинграде, я читал либо «тамиздат», либо переводных авторов. И когда в каком-то американском романе было описано, как герой зашел в бар, бросил на цинковую стойку полдоллара и заказал двойной мартини, это казалось таким настоящим, подлинным... прямо Шекспир!

— Большая литература...

— Да. И только в Америке выяснилось, что меня больше интересует русская литература...

— Когда вы жили в России, вам удавалось что-то писать, кроме чисто журналистских работ?

— Еще как! Журналистом я стал случайно. А потом, потеряв честь и совесть, написал две халтурные повести о рабочем классе. Одну сократили до рассказа и напечатали в журнале «Нева» то ли в 1967-м, то ли в 1969-м. Она называлась «Завтра будет обычный день» — ужасная пролетарская повесть... А вторую я сочинил по заказу журнала «Юность». Эта повесть — «Интервью» — безусловно, ничтожное произведение. Есть люди, у которых разница между халтурой и личным творчеством не столь заметна. А у меня, видимо, какие-то другие разделы мозга этим заняты. Если я делаю что-то заказное, пишу не от души, то это очевидно плохо. В результате — неуклюжая, глупая публикация, которая ничего тебе не дает: ни денег, ни славы.

— Это было в начале 70-х годов. Потом, через несколько лет, вы уехали. А до того вы что делали — писали в стол?

— Это называется «писать в стол», хотя я старался, чтобы читали мои знакомые. Я писал, ходил по редакциям, всех знал и даже среди непечатающейся ленинградской молодежи считался сравнительно удачливым. Я помню, как один менее преуспевающий автор, мой приятель, говорил: «Ну что тебе жаловаться? С тобой даже в «Авроре» здороваются!»

— Каков был ленинградский писательский круг в то время?

— Это было странное поколение. Я бы не сказал — незамеченное, а какое-то не очень яркое. После того как отшумело поколение — Битов, Марамзин, Сергей Вольф, и замкнул его Валерий Попов, который старше меня всего на год, появился я. И некоторое время в этой среде было принято говорить, хотя это и нескромно звучит: «После Сережи уже никто не появился». Это не так. Среди моих сверстников и знакомых были очень способные люди. Просто дальше шло поколение душевно нестойких, с какими-то ментальными проблемами... И наше поколение не произвело никакого эффекта в отличие от предыдущего.

— Значит, у вас как у писателя жизнь сложилась не лучшим образом?

— Это была какая-то невероятная смесь везения и невезения. С одной стороны, казалось бы, полное невезение — меня не печатали. Я не мог зарабатывать литературным трудом. Я стал психом, стал очень пьющим. Меня окружали такие же спившиеся непризнанные гении. С другой стороны, куда бы я ни приносил свои рассказы, я всю свою жизнь слышал только комплименты. Никогда никто не выразил сомнения в моем праве заниматься литературным трудом.

— И тогда возникло желание бежать?

— Не то что желание — просто со всех сторон сошлись обстоятельства, из которых в результате стало ясно, что перспективы никакой нет. Печатать не будут, зарабатывать трудно, жена настроена скептически по отношению к властям. Дело в том, что в нашей семье не я был инициатором отъезда... Затем, как ни странно, моя дочь, которой в то время было 11 лет, тоже считала, что надо ехать — может, это было естественное желание видеть мир. Моя мать сразу сказала — как вы, так и я.

У меня года за полтора до отъезда начались публикации на Западе, и это усугубляло мое положение. Выгнали из одного места, из другого, потом я охранял какую-то баржу на Неве, вмерзшую в лед. Она не представляла вообще никакой ценности, кажется, с нее уже было все украдено, что можно было украсть. Но круглосуточно три человека — двое остальных были с высшим образованием — ее охраняли. Меня и оттуда выгнали. Короче говоря, началась невозможная жизнь. Представьте себе — в Ленинграде ходит такой огромный толстый дядя, пьющий. Печатается в «Континенте», в журнале «Время и мы». Участвует в литературной жизни, знаком с Бродским. Шумно везде хохочет, говорит какие-то глупости, ведет вздорные антисоветские разговоры и настоятельно всем советует следовать его примеру. И если существовал какой-то отдел госбезопасности, который занимался такими людьми, то им стало очевидно: надо либо сажать, либо высылать. Они же не обязаны были знать, что я человек слабый, и стойкий диссидент из меня вряд ли получится...

— Значит, вам помогли уехать?

— Сейчас в эмиграции любят говорить о пережитых страданиях. Меня никто не выкидывал, не вытеснял, не высылал... Просто сама жизнь так сложилась. В наручниках меня никто не заставлял туда ехать — просто посоветовали. Я нормально, в общей массе уезжающих евреев прибыл сначала в Вену, потом в Нью-Йорк.

— Вам заранее хотелось поехать в Америку?

— Да. Не скажу, что я был большим американоманом, но я об Америке знал больше, чем о какой-либо другой стране. И не случайно. Бродский любит повторять такую фразу: «Для того чтобы жить в Америке, нужно что-то полюбить в этой стране». Мне повезло, я довольно много знал. Я всегда любил джаз. Как ни странно, я любил американское кино. Я любил американский спорт и немного его знал. Я любил американскую моду, мне нравился американский стиль. Как все нормальные молодые люди моего возраста, я любил Хемингуэя. И вообще любил американскую прозу — это была единственная литература, о которой я мог сказать, что я ее, хоть поверхностно, но знаю. И, кроме того, я знал нечто очень важное для меня — что в любой другой стране, скажем, в Европе, я буду иностранцем. Единственная страна на земном шаре, где человек непонятного происхождения, владеющий восточноевропейским языком, будет чувствовать себя естественно,— это Америка. Нью-Йорк — это филиал земного шара, где нет доминирующей национальной группы и нет ощущения такой группы. Мне так надоело быть непонятно кем — я брюнет, всю жизнь носил бороду и усы, так что не русский, но и не еврей, и не армянин... Так что я знал, что там буду чувствовать себя хорошо.

— И чем же вы начали заниматься?

— А ничем. Такой традиционный эмигрантский вариант в ту пору — жена работает, а муж, лежа на диване, разглагольствует в манере Лоханкина, строит планы и задумывается о судьбах демократии. Что я и проделывал в течение нескольких месяцев. Эмиграция показала, что наша женщина гораздо более жизнеспособна, оптимистична, нетребовательна, чем мужчина. Моя жена тоже нашла работу, превратилась в наборщицу, а я несколько месяцев валялся на диване и читал. И еще чего-то писал, но это была такая вяло текущая болезнь — есть карандаш, почему бы и не пописать... Потом возникла идея создать газету. Вокруг ошивались бывшие журналисты, и мы решили это делать вместе. Тут же возник вопрос — а кто нам это разрешит, и выяснилось, что разрешения не требуется, просто нужно купить помещение, бумагу, техническое оборудование. А потом стало ясно, что все это можно взять в аренду, взять деньги в долг... В результате мы раздобыли 16 тысяч долларов, смехотворную по сегодняшним временам сумму, и с этого началась еженедельная газета «Новый американец», форматом как «Неделя», но 48-страничная. Это была самая толстая русскоязычная газета на земле — по объему в каждый номер можно было вколотить «Капитанскую дочку» Пушкина. Она существовала два года. Я в этой газете был главным редактором. Но это была скорее протокольная должность, а на самом деле существовало коллегиальное руководство.

— «Новый американец» провалился потому, что русская эмиграция оказалась неспособной к плюрализму? Или по другим причинам?

— «Новый американец» провалился, как все на свете проваливается, по разным причинам: косность читательской эмигрантской аудитории. Отсутствие делового опыта. Неумение строить личные отношения в редакции и т. д.

— Лимонов в аналогичном интервью сказал, что он преуспевающий западный писатель. Вы себя таким чувствуете?

— Во-первых, себя таким не чувствует Лимонов, что не мешает ему говорить все, что ему вздумается. Я себя таким не чувствую и не являюсь таковым.

— Тем не менее «Нью-Йоркер» вас печатает. Успех у критики безусловный. Рецензии в наиболее престижных журналах я видел своими глазами. Значит, успех есть, вы же не будете это отрицать...

— Нет, это было бы глупо и выглядело бы кокетством. В России успех — это понятие однозначное. Оно включает в себя деньги, славу, комфорт, известность, положительную прессу, репутацию порядочного человека и т. д. В Америке успехов может быть десять, двенадцать, пятнадцать. Есть рыночный успех, есть успех у университетской профессуры, есть успех у критиков, есть успех у простонародья.

Мой случай, если вы согласны называть его успехом, по-английски называется «критикал эклэйм» — замечен критикой. Действительно, было много положительных рецензий.

— Что вы сами скажете о себе как писателе?

— Не думайте, что я кокетничаю, но я не уверен, что считаю себя писателем. Я хотел бы считать себя рассказчиком. Это не одно и то же. Писатель занят серьезными проблемами — он пишет о том, во имя чего живут люди, как должны жить люди. А рассказчик пишет о том, КАК живут люди. Мне кажется, у Чехова всю жизнь была проблема, кто он: рассказчик или писатель? Во времена Чехова еще существовала эта грань.

— А что вы делаете на радио «Свобода»?

— Я не журналист по духу. Меня не интересуют факты, я путаю, много вру, я не скрупулезный, не энергичный, короче — не журналист. Хотя всю жизнь зарабатывал именно этим. И оказавшись в эмиграции, я для себя выработал жанр. Поскольку я не знал американской жизни, плохо знал американскую прессу, не следил за американским искусством, я внедрил такой жанр, который в России называется «Взгляд и нечто». Довлатов разглагольствует о чем придется. Стал поступать какой-то отклик, значит, кто-то слушает, кому-то нравится...

Вообще, если бы так случилось, что я заработал бы большие деньги, я бы, наверное, прекратил журналистскую деятельность. Но, с другой стороны, если бы я заработал огромные деньги, я бы литературную деятельность тоже прекратил. Я бы прекратил всяческое творчество. Я бы лежал на диване, создавал какие-то организации, объездил весь мир, помогал бы всем материально, что, между прочим, доставляет мне массу радости.

— Получается, что ваша литературная деятельность не слишком серьезна?

— Раньше я к ней относился с чрезмерной серьезностью, считал, что это моя жизнь. Всем остальным можно было пренебречь, можно было разрушить семью, отношения с людьми, быть неверующим, допускать какие-то изъяны в репутации, но быть писателем. Это было все. Сейчас я стал уже немолодой, и выяснилось, что ни Льва Толстого, ни Фолкнера из меня не вышло, хотя все, что я пишу, публикуется. И на передний план выдвинулись какие-то странные вещи: выяснилось, что у меня семья, что брак — это не просто факт, это процесс. Выяснилось, что дети — это не капиталовложение, не объект для твоих сентенций и не приниженные существа, которых ты почему-то должен воспитывать, будучи сам черт знает кем, а что это какие-то божьи создания, от которых ты зависишь, которые тебя критикуют и с которыми ты любой ценой должен сохранить нормальные человеческие отношения. Это оказалось самым важным.

Записала Е. ВЕСЕЛАЯ

Сергей ДОВЛАТОВ

МОЙ СТАРШИЙ БРАТ

РАССКАЗ



Жизнь превратила моего двоюродного брата в уголовника. Мне кажется, ему повезло. Иначе он неминуемо стал бы крупным партийным функционером.

К этому имелось множество самых разнообразных предпосылок. Однако не будем забегать вперед...

Тетка моя была известным литературным редактором. Муж ее Арон заведовал военным госпиталем. Помимо этого, он читал лекции и коллекционировал марки. Это была дружная, хорошая семья...

Мой старший брат родился при довольно загадочных обстоятельствах. До замужества у тетки был роман. Она полюбила заместителя Сергея Мироновича Кирова. Звали его Александр Угаров. Старики ленинградцы помнят этого видного обкомовского деятеля.

У него была семья. А тетку он любил помимо брака.

И тетка оказалась в положении.

Наконец, пришло время рожать. Ее увезли в больницу.

Мать поехала в Смольный. Добилась приема. Напомнила заместителю Кирова о сестре и ее проблемах.

Угаров хмуро сделал несколько распоряжений. Обкомовская челядь строем понесла в родильный дом цветы и фрукты. А в теткино жилище был доставлен миниатюрный инкрустированный ломберный столик. Видимо, реквизированный у классово чуждых элементов.

Тетка родила здорового симпатичного мальчика Борю. Мать решила снова поехать в обком. Добиться приема ей не удалось. И не потому, что Угаров зазнался. Скорее, наоборот. За эти дни счастливого папашу арестовали как врага народа.

Шел тридцать восьмой год... Тетка осталась с младенцем.

Хорошо, что Угаров не был ее мужем. Иначе бы тетку сослали. А так — сослали жену и детей. Что, конечно, тоже неприятно.

Видимо, тетка сознавала, на что идет. Она была красивой, энергичной и независимой женщиной. Если она и боялась чего-нибудь, то лишь партийной критики...

К тому же появился Арон. Видимо, он любил мою тетку. Он предложил ей руку и сердце.

Арон был сыном владельца шляпной мастерской. При этом он не выглядел типичным евреем — близоруким, хилым, задумчивым. Это был высокий, сильный, мужественный человек. Бывший революционный студент, красноармеец и нэпман. Впоследствии административный работник. И, наконец, в преклонные годы ревизионист и диссидент...

Арон боготворил мою тетку. Ребенок называл его — папа...

Началась война. Мы оказались в Новосибирске. Боре исполнилось три года. Он ходил в детский сад. Я был грудным младенцем.

Боря приносил мне куски рафинада. Он нес их за щекой. А дома вынимал и клал на блюдце.

Я капризничал, сахар есть не хотел. Боря с тревогой говорил нашим родителям:

— Ведь сахар тает...

Потом война кончилась. И мы уже больше не голодали.

Мой брат рос красивым подростком западноевропейского типа. У него были светлые глаза и темные курчавые волосы. Он напоминал юных героев прогрессивного итальянского кино. Так считали все наши родственники...

Это был показательный советский мальчик. Пионер, отличник, футболист и собиратель металлического лома. Он вел дневник, куда записывал мудрые изречения. Посадил в своем дворе березу. В драматическом кружке ему поручали роли молодогвардейцев...

Я был младше, но хуже. И его неизменно ставили мне в пример.

Он был правдив, застенчив и начитан. Мне говорили — Боря хорошо учится, помогает родителям, занимается спортом... Боря стал победителем районной олимпиады... Боря вылечил раненого птенца... Боря собрал детекторный приемник. (Я до сих пор не знаю, что это такое...)

И вдруг произошло нечто фантастическое... Не поддающееся описанию... У меня буквально не хватает слов...

Короче, мой брат помочился на директора школы.

Случилось это после занятий. Боря выпускал стенгазету к Дню физкультурника. Рядом толпились одноклассники.

Кто-то сказал, глядя в окно:

— Легавый пошел...

(Легавым звали директора школы Чеботарева.)

Далее мой брат залез на подоконник. Попросил девчонок отвернуться. Умело вычислил траекторию. И окатил Чеботарева с ног до головы...

Это было невероятно и дико. В это невозможно было поверить. Через месяц некоторые из присутствующих сомневались, было ли это в действительности. Настолько чудовищно выглядела подобная сцена.

Реакция директора Чеботарева тоже была весьма неожиданной. Он совершенно потерял лицо. И внезапно заголосил приблатненной лагерной скороговоркой:

— Да я таких бушлатом по зоне гонял!.. Ты у меня дерьмо будешь хавать!.. Сучара ты бацилльная!..

В директоре Чеботареве пробудился старый лагерный нарядчик. А ведь кто бы мог подумать?.. Зеленая фетровая шляпа, китайский мантель, туго набитый портфель...

Мой брат совершил этот поступок за неделю до окончания школы. Лишив себя таким образом золотой медали. Родители с трудом уговорили директора выдать Боре аттестат зрелости...

Я тогда спросил у брата:

— Зачем ты это сделал?

Брат ответил:

— Я сделал то, о чем мечтает втайне каждый школьник. Увидев Легавого, я понял: сейчас или никогда! Я сделаю это!.. Или перестану себя уважать...

Уже тогда я был довольно злым подростком. Я сказал моему брату:

— На фасаде вашей школы через сто лет повесят мемориальную доску: «Здесь учился Борис Довлатов... с вытекающими отсюда неожиданными последствиями»...

Дикий поступок моего брата обсуждался несколько месяцев. Затем Борис поступил в театральный институт. Он решил стать искусствоведом. О его преступлении начали забывать. Тем более что занимался он великолепно. Был секретарем комсомольской организации. А также донором, редактором стенной газеты и вратарем...

Возмужав, он стал еще красивее. Он был похож на итальянского киноактера. Девицы преследовали его с нескрываемым энтузиазмом.

При этом он был целомудренным и застенчивым юношей. Ему претило женское кокетство. Я помню записи в его дневнике: «Главное в книге и в женщине не форма, а содержание...»

Даже теперь, после бесчисленных жизненных разочарований, эта установка кажется мне скучноватой. И мне по-прежнему нравятся только красивые женщины.

Более того, я наделен предрассудками. Мне кажется, например, что все толстые женщины — лгуньи. В особенности, если полнота сопровождается малым бюстом...

Впрочем, речь идет не обо мне...

Мой брат окончил театральный институт. Получил диплом с отличием. За ним тянулось безупречное комсомольское досье.

Он был целинником и командиром стройотрядов. Активистом дружины содействия милиции. Грозой мещанских настроений и пережитков капитализма в сознании людей.

У него были самые честные глаза в микрорайоне...

Он стал завлитом. Поступил на работу в Театр имени Ленинского комсомола. Это было почти невероятно. Мальчишка, недавний студент, и вдруг такая должность!..

На посту заведующего литературной частью он был требователен и деловит. Он ратовал за прогрес-

сивное искусство. Причем тактично, сдержанно и осторожно. Умело протаскивая Вампилова, Борщаговского, Мрожека...

Его побаивались заслуженные советские драматурги. Им восхищалась бунтующая театральная молодежь.

Его посылали в ответственные командировки. Он был участником нескольких кремлевских совещаний. Ему деликатно рекомендовали стать членом партии. Он колебался. Ему казалось, что он не достоин...

И вдруг мой братец снова отличился. Я даже не знаю, как лучше выразиться... Короче, Боря совершил двенадцать ограблений.

У него был дружок в институте по фамилии Цапин. И вот они с Цапиным грабанули двенадцать заграничных туристских автобусов. Унесли чемоданы, радиоприемники, магнитофоны, зонтики, плащи и шляпы. И, между прочим, запасное колесо.

Через сутки их арестовали. Мы были в шоке. Тетка побежала к своему другу Юрию Герману. Тот позвонил друзьям — генералам милиции.

На суде моего брата защищал лучший адвокат города Киселев.

В ходе суда обнаружились некоторые подробности и детали. Выяснилось, что жертвы ограбления были представителями развивающихся стран. А также членами прогрессивных социалистических организаций.

Киселев решил этим воспользоваться. Он задал моему брату вопрос:

— Подсудимый Довлатов, вы знали, что эти люди являются гражданами развивающихся стран? А также представителями социалистических организаций?

— К сожалению, нет,— разумно ответил Борис.

— Ну, а если бы вы это знали?.. Решились бы вы посягнуть на их личную собственность?

Лицо моего брата выразило крайнюю степень обиды. Вопрос адвоката показался ему совершенно бестактным. Он досадливо приподнял брови. Что означало: «И вы еще спрашиваете?.. Да как вы могли подумать?!..»

Киселев заметно оживился.

— Так,— сказал он,— и наконец, последний вопрос. Не думали ли вы, что эти господа являются представителями реакционных слоев общества?..

В этот момент его перебил судья:

— Товарищ Киселев, не делайте из подсудимого борца за мировую революцию!..

Но брат успел кивнуть. Дескать, мелькнуло такое предположение...

Судья повысил голос:

— Давайте придерживаться фактов, которыми располагает следствие...

Моему брату дали три года.

На суде он держался мужественно и просто. Улыбался и поддразнивал судью.

Когда оглашали приговор, брат не дрогнул. Его увели под конвоем из зала суда.

Затем была кассация... Какие-то хлопоты, переговоры и звонки. И все напрасно.

Мой брат оказался в Тюмени. В лагере усиленного режима. Мы с ним переписывались. Все его письма начинались словами: «У меня все нормально...»

Далее шли многочисленные, но сдержанные и трезвые просьбы: «Две пары шерстяных носков... Самоучитель английского языка... Рейтузы... Общие тетради... Самоучитель немецкого языка... Чеснок... Лимоны... Авторучки... Самоучитель французского языка... А также самоучитель игры на гитаре...»

Сведения из лагеря поступали вполне оптимистические. Старший воспитатель Букин писал тетке:

«Борис Довлатов неуклонно следует всем предписаниям лагерного режима... Пользуется авторитетом среди заключенных... Систематически перевыполняет трудовые задания... Принимает активное участие в работе художественной самодеятельности...»

Брат писал, что его назначили дневальным. Затем бригадиром. Затем председателем совета бригадиров. И, наконец, заведующим баней.

Это была головокружительная карьера. И сделать ее в лагере чрезвычайно трудно. Такие же усилия на воле приводят к синекурам бюрократического руководства. К распределителям, дачам и заграничным поездкам...

Мой брат стремительно шел к исправлению. Он был лагерным маяком. Ему завидовали, им восхищались.

Через год его перевели на химию. То есть на вольное поселение. С обязательным трудоустройством на местном химическом комбинате.

Там он и женился. К нему приехала самоотверженная однокурсница Лиза. Она поступила, как жена декабриста. Они стали мужем и женой...

А меня пока что выгнали из университета. Затем призвали в армию. И я попал в охрану. Превратился в лагерного надзирателя.

Так что я был охранником. А Боря — заключенным.

Вышло так, что я даже охранял своего брата. Правда, очень недолго. Рассказывать об этом мне не хочется. Иначе все будет слишком уж литературно. Как в «Донских рассказах» Шолохова.

Достаточно того, что я был охранником. А брат мой — заключенным...

Вернулись мы почти одновременно. Брата освободили, а я демобилизовался.

Родственники устроили грандиозный банкет в «Метрополе». Чествовали главным образом моего брата. Но и меня помянули добрым словом.

Дядя Роман высказался следующим образом:

— Есть люди, которые напоминают пресмыкающихся. Они живут в болотах... И есть люди, которые напоминают горных орлов. Они парят выше солнца, широко расправив крылья... Выпьем же за Борю, нашего горного орла!.. Выпьем, чтобы тучи остались позади!..

— Браво! — закричали родственники.— Молодец, орел, джигит!..

Я уловил в дядиной речи мотивы горьковской «Песни о Соколе»...

Роман слегка понизил голос и добавил:

— Выпьем и за Сережу, нашего орленка! Правда, он еще молод. Крылья его не окрепли. Но и его ждут широкие просторы!..

— Боже упаси! — довольно громко сказала мама.

Дядя укоризненно поглядел в ее сторону...

Снова тетка звонила разным людям. И моего брата приняли на «Ленфильм». Назначили к тому же кем-то вроде осветителя.

А я поступил в многотиражку. И к тому же начал писать рассказы...

Карьера моего брата развивалась в нарастающем темпе. Вскоре он стал лаборантом. Потом диспетчером. Потом старшим диспетчером. И, наконец, заместителем директора картины. То есть лицом материально ответственным.

Недаром в лагере мой брат так стремительно шел к исправлению. Теперь он, видимо, не мог остановиться...

Через месяц его фотография висела на Доске почета. Его полюбили режиссеры, операторы и сам директор «Ленфильма» Звонарев. Более того, его полюбили уборщицы...

Ему обещали в недалеком будущем самостоятельную картину.

Шестнадцать старых коммунистов «Ленфильма» готовы были дать ему рекомендацию в партию. Но брат колебался.

Он напоминал Левина из «Анны Карениной». Левина накануне брака смущала утраченная в молодые годы девственность. Брата мучила аналогичная проблема. А именно, можно ли быть коммунистом с уголовным прошлым?

Старые коммунисты уверяли его, что можно...

Брат резко выделялся на моем унылом фоне. Он был веселым, динамичным и немногословным. Его посылали в ответственные командировки. Все прочили ему блестящую административную карьеру. Невозможно было поверить, что он сидел в тюрьме. Многие из числа не очень близких знакомых думали, что в тюрьме сидел я...

И снова что-то произошло. Хотя не сразу, а постепенно...

Начались какие-то странные перебои. Как будто торжественное звучание «Аппассионаты» нарушилось режущими воплями саксофона.

Мой брат по-прежнему делал карьеру. Произносил на собраниях речи. Ездил в командировки. Но параллельно стал выпивать. И ухаживать за женщинами. Причем с неожиданным энтузиазмом.

Его стали замечать в подозрительных компаниях. Его окружали пьяницы, фарцовщики, какие-то неясные ветераны Халхин-Гола.

Протрезвев, он бежал на собрание. Успешно выступив на собрании, торопился к друзьям.

Сначала эти маршруты не пересекались. Брат делал карьеру и одновременно губил ее.

Он по трое суток не являлся домой. Исчезал с какими-то непотребными женщинами.

Среди этих женщин преобладали весьма красивые. Одну из них, я помню, звали Грета. У нее был зоб.

Я сказал моему брату:

— Ты бы мог найти и получше.

— Дикарь,— возмутился мой брат,— а знаешь ли ты, что она получает спирт на работе! Причем в неограниченном количестве...

Очевидно, мой брат все еще руководствовался юношеской доктриной: «В женщине и в книге главное не форма, а содержание!»

Потом Борис избил официанта в ресторане «Нарва». Брат требовал, чтобы официант исполнил «Сулико»...

Он стал попадать в милицию. Каждый раз его вызволяло оттуда партийное бюро «Ленфильма». Но с каждым разом все менее охотно.

Мы ждали, чем все это кончится...

Летом он поехал на съемки «Даурии» в Читу. И вдруг мы узнали, что брат на казенной машине задавил человека. Да еще офицера Советской Армии. Насмерть...

Это было страшное время предположений и догадок. Информация поступала самая разноречивая. Говорили, правда, что и офицер был в нетрезвом состоянии. Хотя это не имело значения, поскольку он был мертв...

От тетки все это скрывалось. Дядя собрали около четырехсот рублей. Я должен был лететь в Читу — узнать подробности и совершить какие-то разумные акции. Договориться о передачах, нанять адвоката...

— И если можно, подкупить следователя,— напоминал дядя Роман.

Я начал собираться.

Поздно ночью раздался телефонный звонок. Я поднял трубку. Из тишины выплыл спокойный голос моего брата:

— Ты спал?

— Боря! — закричал я.— Ты жив?! Тебя не расстреляют?! Ты был пьян?!

— Я жив,— ответил брат,— меня не расстреляют... И запомни: это был несчастный случай. Я вел машину трезвый. Мне дадут четыре года, не больше. Ты получил сигареты?

— Какие сигареты?

— Японские. Видишь ли, Чита имеет сепаратный договор с Японией. И тут продаются отличные сигареты «Хилайт». Я послал тебе блок на день рождения. Ты получил их?

— Нет. Это неважно...

— То есть как это неважно? Это классные сигареты, изготовленные по американской лицензии.

Но я прервал его:

— Ты под стражей?

— Нет,— сказал он,— зачем? Я живу в гостинице. Ко мне приходит следователь. Ее зовут Лариса. Полная такая... Кстати, она шлет тебе привет...

В трубке зазвучал посторонний женский голос:

— Ку-ку, моя цыпа!

Потом опять заговорил мой брат:

— В Читу тебе лететь совершенно незачем. Суд, я думаю, будет в Ленинграде... Мама знает?

— Нет,— сказал я.

— Хорошо...

— Боря! — орал я.— Что тебе прислать? Ты, наверное, в жутком состоянии?! Ты ведь убил человека! Убил человека!

— Не кричи! Офицеры созданы, чтобы погибать... И еще раз повторяю — это был несчастный случай... А главное — куда девались сигареты?..

Вскоре из Читы приехали двое непосредственных участников событий. Таким образом стали известны подробности дела. Вот что, оказывается, произошло.

Был чей-то день рождения. Отмечали его на лоне природы. Боря приехал уже вечером, на казенной автомашине. Как всегда, не хватило спиртного. Гости слегка приуныли. Магазины были закрыты.

Боря объявил:

— Еду за самогоном. Кто со мной?

Он был навеселе. Его пытались отговорить. В результате с ним поехали трое. В том числе шофер автомобиля, который дремал на заднем сиденье.

Через полчаса они сшибли мотоциклиста. Тот умер, не приходя в сознание.

Участники поездки были в истерике. А брат мой, наоборот, протрезвел. Он действовал решительно и четко. А именно все-таки поехал за самогоном. Это заняло пятнадцать минут. Затем он щедро наделил самогоном всех участников поездки. В том числе и слегка протрезвевшего шофера. Тот снова задремал.

Лишь тогда брат позвонил в милицию. Вскоре подъехала оперативная машина. Был обнаружен труп, разбитый мотоцикл и четверо пьяных людей. Причем мой брат оказался самым трезвым.

Лейтенант Дудко спросил:

— Кто из вас шофер?

Брат указал на спящего шофера. Того положили в оперативную машину. Остальных развезли по домам, записав адреса.

Брат скрывался трое суток. Пока не выветрился алкоголь. Затем явился в милицию с повинной.

Шофер к этому времени, естественно, протрезвел. Его содержали в камере предварительного заключения. Он был уверен, что спьяну задавил человека.

Тут явился мой брат и сказал, что машину вел он.

— Зачем же вы указали на Крахмальникова Юрия Петровича? — рассердился лейтенант.

— Вы спросили, кто шофер, и я ответил...

— Где же вы пропадали трое суток?

— Я испугался... Я был в шоке...

Фальшивая гримаса на лице моего брата выражала хрупкость психики.

— Такого испугаешь! — не поверил лейтенант.

Затем спросил:

— Вы были пьяны?

— Нисколько,— ответил мой брат.

— Сомневаюсь...

Однако что-либо доказать уже было невозможно. Участники рейса клялись, что Боря не пил. Шофер отделался выговором по служебной линии.

Братец поступил умно. Теперь его должны были

судить уже не как пьяного за рулем. А как виновника несчастного случая.

Следователь Лариса говорила ему:

— Даже в кровати ты продолжаешь обманывать следствие...

Через неделю он появился в Ленинграде.

Тетка уже все знала. Она не плакала. Она звонила писателям, которые имели дело с милицией. Все тем же Юрию Герману, Меттеру, Сапарову.

В результате моего брата не трогали. Оставили в покое до суда. Только взяли подписку о невыезде.

Брат заехал ко мне в один из первых дней. Он спросил:

— Ты ведь служил под Ленинградом? Знаешь местную систему лагерей?

— В общем, да. Я был в Обухове, Горелове, на Пискаревке...

— Куда бы мне, по-твоему, лучше сесть?

— В Обухове, я думаю, режим помягче.

— Короче, надо поехать и ознакомиться...

Мы поехали в Обухово. Зашли в казарму. Поговорили с дневальным. Узнали, кто есть из знакомых сверхсрочников. Через минуту в казарму прибежали сержанты Годеридзе и Осипенко.

Мы обнялись. Я познакомил их с моим братом. Потом выяснил, кто остался из старой лагерной администрации.

— Капитан Дерябин,— ответили сверхсрочники.

Капитана Дерябина я хорошо помнил. Это был сравнительно добродушный, нелепый алкаш. Заключенные таскали у него сигареты. Когда я служил, Дерябин был лейтенантом.

Мы позвонили в зону. Через минуту Дерябин появился на вахте.

— А! — закричал он.— Серега приехавши! Дай-ка взглянуть, на кого ты похож. Я слышал, ты писателем заделался? Вот опиши случай из жизни. У меня с отдельной точки зек катапультировался. Вывел я бригаду сантехников на отдельную точку. Поставил конвоира. Отлучился за маленькой. Возвращаюсь — нет одного зека. Улетел... Нагнули, понимаешь, сосну. Пристегнули зека к верхушке монтажным ремнем — и отпустили. А зек в полете расстегнулся и с концами. Улетел чуть не за переезд. Однако малость не рассчитал. Надеялся в снег приземлиться у лесобиржи. А получилось, что угодил во двор райвоенкомата. И еще такая чисто литературная деталь. Когда его брали, он военкома за нос укусил...

Я познакомил Дерябина с моим братом.

— Леха,— сказал капитан, протягивая руку.

— Боб.

— Так что,— говорю,— неплохо бы это самое?..

Мы решили уйти из казармы в ближайший лесок. Пригласили Годеридзе и Осипенко. Вынули из портфеля четыре бутылки «Зверобоя». Сели на поваленную ель.

— Ну, за все хорошее! — сказали тюремщики.

Через пять минут брат обнимался с Дерябиным. И между делом задавал ему вопросы:

— Как с отоплением? Много ли караульных собак на блокпостах? Соблюдается ли камерный принцип охраны?

— Не пропадешь,— заверяли его сверхсрочники.

— Хорошая зона,— твердил Годеридзе,— поправишься, отдохнешь, богатырем станешь...

— И магазин совсем близко,— вставлял Осипенко,— за переездом... Белое, красное, пиво...

Через полчаса Дерябин говорил:

— Садитесь, ребятки, пока я жив. А то уволят Леху Дерябина, и будет вам хана... Придут разные деятели с незаконченным высшим образованием... Вспомните тогда Леху Дерябина...

Боря записал его домашний телефон.

— И я твой запишу,— сказал Дерябин.

— Не имеет смысла,— ответил брат.— Я через месяц приеду...

В электричке на пути домой он говорил:

— Пока что все не так уж худо.

А я чуть не плакал. Видно, на меня подействовал «Зверобой».

Вскоре начался суд. Брата защищал все тот же адвокат Киселев. Присутствующие то и дело начинали ему аплодировать.

Любопытно, что жертвой событий он изобразил моего брата, а вовсе не покойного Коробченко.

В заключение он сказал:

— Человеческая жизнь напоминает горную дорогу со множеством опасных поворотов. Один из них стал роковым для моего подзащитного...

Брату опять дали три года. Теперь уже строгого режима.

В день суда я получил бандероль из Читы. В ней оказались десять пачек японских сигарет «Хилайт»...

Борю поместили в Обухове. Он написал мне, что лагерь хороший, а вохра довольно гуманная.

Капитан Дерябин оказался человеком слова. Он назначил Борю хлеборезом. Это была завидная, номенклатурная должность.

За это время жена моего брата успела родить дочку Наташу. Как-то раз она позвонила мне и говорит:

— Нам предоставляют общее свидание. Если ты свободен, поедем вместе. Мне одной с грудным ребенком будет трудно.

Мы поехали вчетвером — тетка, Лиза, двухмесячная Наташа и я.

Был жаркий августовский день. Наташа всю дорогу плакала. Лиза нервничала. У тетки разболелась голова...

Мы подъехали к вахте. Затем оказались в комнате свиданий. Кроме нас, там было шестеро посетителей. Заключенных отделял стеклянный барьер.

Лиза распеленала дочку. Брат все не появлялся. Я подошел к дежурному сверхсрочнику:

— А где Довлатов? — спрашиваю.

Тот грубовато ответил:

— Ждите.

Я говорю:

— Позвони дневальному и вызови моего брата. И скажи Лехе Дерябину, что я велел тебя погонять!

Дежурный несколько сбавил тон:

— Я Дерябину не подчиняюсь. Я оперу подчиняюсь...

— Давай,— говорю,— звони...

Тут появился мой брат. Он был в серой лагерной робе. Стриженные под машинку волосы немного отросли. Он загорел и как будто вытянулся.

Тетка протянула ему в амбразуру яблоки, колбасу и шоколад.

Лиза говорила дочке:

— Татуся, это папа. Видишь, это папа...

А брат все смотрел на меня. Потом сказал:

— На тебе отвратительные брюки. И цвет какой-то говнистый. Хочешь, я тебе сосватаю одного еврея? Тут в зоне один еврей шьет потрясающие брюки. Кстати, его фамилия — Портнов. Бывают же такие совпадения...

Я закричал:

— О чем ты говоришь?! Какое это имеет значение?!

— Не думай,— продолжал он,— это бесплатно. Я выдам деньги, ты купишь материал, а он сошьет брюки... Еврей говорит: «Задница — лицо человека!» А теперь посмотри на свою... Какие-то складки...

Мне показалось, что для рецидивиста он ведет себя излишне требовательно...

— Деньги? — насторожилась тетка.— Откуда? Я знаю, что в лагере деньги иметь не положено.

— Деньги, как микробы,— сказал Борис,— они есть везде. Построим коммунизм — тогда все будет иначе...

— Погляди же на дочку,— взмолилась Лиза.

— Я видел,— сказал брат,— чудная девка...

— Как,— говорю,— у вас с питанием?

— Неважно. Правда, я в столовой не бываю. Посылаем в гастроном кого-нибудь из сверхсрочников... Бывает, и купить-то нечего. После часу колбасы и яиц уже не достанешь... Да, загубил Никита сельское хозяйство... А было время — Европу кормили... Одна надежда — частный сектор... Реставрация нэпа...

— Потише,— сказала тетка.

Брат позвал дежурного сверхсрочника. Что-то сказал ему вполголоса. Тот начал оправдываться. К нам долетали лишь обрывки фраз.

— Ведь я же просил,— говорил мой брат.

— Я помню,— отвечал сверхсрочник,— не волнуйся. Толик вернется через десять минут.

— Но я же просил к двенадцати тридцати.

— Возможности не было.

— Дима, я обижусь.

— Боря, ты меня знаешь. Я такой человек: обещал — сделаю... Толик вернется буквально через пять минут...

— Но мы хотим выпить сейчас!

Я спросил:

— В чем дело?! Что такое?!

Брат ответил:

— Послал тут одного деятеля за водкой, и с концами... Какой-то бардак, а не воинское подразделение.

— Тебя посадят в карцер,— сказала Лиза.

— А в карцере, что, не люди?!..

Ребенок снова начал плакать. Лиза обиделась. Брат показался ей невнимательным и равнодушным. Тетка принимала одно лекарство за другим.

Время свидания истекало. Одного из зеков уводили почти насильно. Он вырывался и кричал:

— Надька, сблядуешь — убью! Разыщу и покалечу, как мартышку... Это я гарантирую... И помни, сука, Вовик тебя любит!..

— Пора идти,— сказал я,— время.

Тетка отвернулась. Лиза укачивала маленькую.

— А водка? — сказал мой брат.

— Выпейте,— говорю,— сами.

— Я хотел с тобой.

— Не стоит, брат, какое тут питье?..

— Как знаешь... а этого сверхсрочника я все равно приморю. Для меня главное в человеке — ответственность...

Вдруг появился Толик с бутылкой. Было заметно, что он спешил.

— Вот,— говорит,— рупь тридцать сдачи.

— Так, чтобы я не видел, ребята,— сказал дежурный, протягивая Боре эмалированную кружку.

Брат ее живо наполнил. И каждый сделал по глотку. В том числе зеки, их родные, надзиратели, сверхсрочники. И сам дежурный...

Один небритый татуированный зек, поднимая кружку, сказал:

— За нашу великую Родину! За лично товарища Сталина! За победу над фашистской Германией! Из всех наземных орудий — бабах!..

— Да здравствует махрово-реакционная клика Имре Надя! — поддержал его второй...

Дежурный тронул брата за плечо:

— Боб, извини, тебе пора...

Мы попрощались. Я пожал брату руку через амбразуру. Тетка молча глядела на сына. Лиза вдруг заплакала, разбудив уснувшую было Наташу. Та подняла крик.

Мы вышли и стали ловить такси...

Прошло около года. Брат писал, что все идет хорошо. Он работал хлеборезом, а когда Дерябин ушел на пенсию, стал электромонтером.

Затем моего брата разыскал представитель УВД. Было решено создать документальный фильм о лагерях. О том, что советские лагеря — наиболее гуманные в мире. Фильм предназначался для внутреннего использования. Назывался он суховато: «Методы охраны исправительно-трудовых колоний строгого режима».

Брат разъезжал по отдаленным лагерным точкам. Ему предоставили казенную машину «ГАЗ-61». Выдали соответствующую аппаратуру. Его неизменно сопровождали двое конвоиров — Годеридзе и Осипенко.

К лету фильм был готов. Брат выполнял одновременно функции кинооператора, режиссера и диктора.

В июне состоялся просмотр. В зале сидели генералы и полковники. На обсуждении фильма генерал Шурепов сказал:

— Хорошая, нужная картина... Смотрится, как «Тысяча и одна ночь»...

Борю похвалили. К сентябрю его должны были освободить.

Наконец-то я уловил самую главную черту в характере моего брата. Он был неосознанным стихийным экзистенциалистом. Он мог действовать только в пограничных ситуациях. Карьеру делать лишь в тюрьме. За жизнь бороться только на краю пропасти.

Наконец, его освободили.

Дальше я вынужден повторяться. Тетка позвонила Юрию Герману, брата взяли чернорабочим на студию документальных фильмов. Через два месяца он работал звукооператором. А через полгода — начальником отдела снабжения.

Примерно в эти же дни меня окончательно уволили с работы. Я сочинял рассказы и жил на мамину пенсию...

Когда тетка заболела и умерла, в ее бумагах нашли портрет сероглазого обаятельного мужчины. Это был заместитель Кирова Александр Иванович Угаров. Он напоминал моего брата. Хоть и выглядел значительно моложе.

Боря и раньше знал, кто его отец. Сейчас на эту тему заговорили открыто.

Брат мог попытаться отыскать своих родственников. Однако не захотел. Он сказал:

— У меня есть ты, и больше никого...

Потом задумался и добавил:

— Как странно! Я наполовину русский. Ты наполовину еврей. Но оба любим водку с пивом...

В семьдесят девятом году я решил эмигрировать. Брат сказал, что не поедет.

Он снова начал пить и драться в ресторанах. Ему грозило увольнение с работы.

Я думаю, он мог жить только в неволе. На свободе он распускался и даже заболевал.

Я сказал ему в последний раз:

— Уедем.

Он реагировал вяло и грустно:

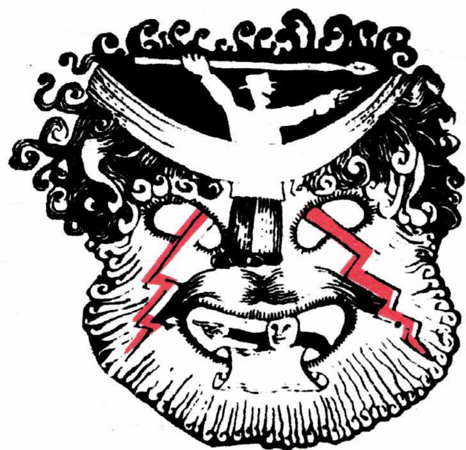
— Все это не для меня. Надо ходить по инстанциям. Надо всех уверять, что ты еврей... Мне неудобно. Вот если бы с похмелья — раз, и ты на Капитолийском холме...

В аэропорту мой брат заплакал. Видно, он постарел. Кроме того, уезжать всегда гораздо легче, чем оставаться...

Четвертый год я живу в Нью-Йорке. Четвертый год шлю посылки в Ленинград. И вдруг приходит бандероль — оттуда.

Я вскрыл ее на почте. В ней лежала голубая трикотажная фуфайка с эмблемой Олимпийских игр. И еще тяжелый металлический штопор усовершенствованной конструкции.

Я задумался: что было у меня в жизни самого дорогого? И понял: четыре куска рафинада, японские сигареты «Хилайт», голубая фуфайка да еще вот этот штопор...



Виктор ШЕНДЕРОВИЧ

КАК ПРОЙТИ ОТ СТАНЦИИ



А очень просто. Переходите через железку — там еще щит стоит «Слава Вооруженным Силам СССР!» — и направо. Только под ноги смотрите, возле щита выбоина, недавно один прапорщик зачитался, ногу сломал. Как повернете, идете метров сорок прямо; у плаката «Заветам верны!» поворачиваете и чешете вдоль забора. На заборе написано: «Нет» — агрессивным планам НАТО!». Только вы, пока читаете, не утоните. Там лужа у нас напротив восклицательного знака, пионеры уже пятерых спасли.

На развилке снова будьте внимательны, где на сосне прибито «Слава труду!», туда не идите, идите, где «Дело партии — дело народа!» — только осторожно идите, там провод оборвался, может долбануть. Метров через сто, если не долбануло, дорога сужается и должен появиться столб. Внизу к нему коза привязана, коза нервная, сторожевая, на людей бросается, а над козой на столбе висит «Да здравствует нерушимая дружба народов СССР!» После «нерушимой дружбы», у поворота,— транспарант «Верным путем идете, товарищи!» — туда не идите ни в коем случае! Повернете только возле траншеи — это в девятой пятилетке начали строить водопровод. Тут, если ночью будете идти, обязательно ударитесь головой о «Да здравствует социалистическая демократия!» — ее очень низко повесили, не рассчитали роста населения.

Дальше снова «Дело партии — дело народа!» — это если кто от станции уже забыть успел.

Оттуда направо, и коли не свалитесь с мостика (там доска выломана, не хватало для стенда «Родина-мать»), увидите на березе цинковый лист. На листе написано: «Да здра...» — а дальше все заржавело. Там рядом еще жил старичок, который помнил, чего именно там «Да здра...».

После ржавого листа уже рядом; только осторожненько обойти щит «Миру — мир», от которого позапрошлым летом отвалилось-таки тире и контузило массовика и семерых отдыхающих из санатория «Путь вдаль», когда они скакали в мешках на первенство района.

Как обойдете щит, тут как раз и калиточка — аккурат между «Народ и партия едины!» и «Решения съезда — в жизнь!». За калиточкой вы уже в безопасности.

Тузика не бойтесь: не кусает, по тропинке — и в дом. Сахару не обещаю, но чай будет. Посидим, расслабимся, послушаем вести с полей, почитаем вслух журнал «Агитатор»...

«МЫ ГОВОРИМ»

Геннадий МАЛКИН

- В общем строю и мысли правофланговые.
- Не успеешь оглянуться, как опять все впереди.
- С фигой в кармане трудно переодеваться в новые одежды...
- Современный вызов бросают через ОВИР.
- Временные перебои напоминали пулеметные очереди.



Владимир КОЛЕЧИЦКИЙ

- Отечество славлю, которое ест...
- Калиф на комендантский час.
- Когда уровень нищеты гарантирован, увереннее смотришь в будущее!
- Кремлевские прейскуранты.
- Из прощания в Колонном зале: «До встречи в верхах!»
- Эволюция: от расцвета застоя к застою расцвета.
- Если будущее за нами, значит, мы не последние.

Константин МЕЛИХАН (Ленинград)

КВАРТИРКА

Я одинок и живу в однокомнатной квартире. Совершенно один. Квартирка маленькая, но места много, потому что тете нужен простор.

Женщина она крупная, а чтобы было еще просторней, врач посадил ее на бессолевую и безводную диету. И весь день она не ест соли и не запивает ее водой. И весь день ей не спится. И только перед сном она засыпает в свой рот соли.

Бабушка от хруста чужих зубов просыпается и кричит из чемодана, что ей мешают читать.

А вот свекру на полу не спится. Ему, видите ли, холодно на линолеуме. И теперь он спит под линолеумом. На голой плите. Правда, утром линолеум приходится снова наклеивать на пол, а вечером снова отлеплять. И пока свекор с шурином укладываются, мы с братом держим на руках шкаф. Осторожно, чтобы не разбудить бабушку.

В сервант ведь ее не положишь: дядя изнутри зажал стекло и не дает открывать.

Зато у тещи самый глубокий сон: она спит в ванне. И просыпается только тогда, когда хочет глотнуть воздуху.

Что касается моей жены, то она почему-то любит спать на всем чистом. И перед сном всегда трясет свой половичок. Трясет его она обычно на кухне и до тех пор, пока полностью не вытряхнет из него бабушку.

А вот молодым на вешалке не спится: шубы срываются с крючков, и молодые дружно бьются о полочку для обуви. Тогда из-под полочки вылезает бабушка и сворачивается клубком у двери, хотя дверь подарили не ей. Ей подарили диван за пять рублей. Отличный диванчик: раскладывается раз в год и намертво,— но в квартирке не умещается, и мы его за это ставим к стенке. На попа. Попу все равно: он у нас живет проездом — из кладовки на балкон. А утюжить рясу он наловчился, не снимая с себя.

Одно неудобство в моей квартирке — неудобно посещать санузел. Потому что антресоли хотя и широкие, но узкие и каждый раз ударяешься головой о дедушкины пятки. Правда, утром дедушка тотчас забирает пятки к себе на антресоли, но свешивается вниз лбом. Это гигиеничней, но надо с вечера оставлять дедушке записку, в каком он положении. А то, проснувшись, он думает, что лежит нормально, и встает с антресолей головой в суп. Суп сразу скисает, поскольку дедушка красит бороду. И мы выливаем его кошке.

Кошка живет в банке из-под соленых огурцов. И просыпается только перед обедом, когда мы вилкой шарим по банке, чтобы наткнуть огурец.

Ровно в полночь дверца в часах с кукушкой открывается и оттуда выскакивает бабушка. Голыми руками хватает огурец и кричит на всю квартиру, что пора спать.

А вот дочке моей жены в клетке с канарейкой было тесно, и мы переселили канарейку в лампочку. Тоже под потолком. И теперь по вечерам, когда мы включаем свет, канарейка жалобно поет. Настоящая светомузыка!

Зато моя квартирка — единственная в доме, в которой нет тараканов.

Занято...



Марьян БЕЛЕНЬКИЙ

УРОК ДЕМОКРАТИИ

Смирно! Вольно! Начинаем боевые занятия по демократии. Что такое демократия? Есть указание, что демократия — это не вседозволенность. Значит, там, где нет вседозволенности, там и есть демократия. Вам розданы орудия демократии длиной 650 мм. Будем вбивать демократию в головы ее противников. Конечно, вы все понимаете, что начинать демократию надо не с этого. Начинать надо со спины. Вежливыми, интеллигентными, незаметными ударами. Так, с демократией мы покончили, перейдем к гласности. Прием первый. Руки противника гласности заводим за лопатки и одновременно зажимаем ему рот. Затем увозим его дальше за город и выпускаем. Пока. Клеветнических заявлений в прокуратуру и обком можно не бояться. Там защитники гласности. Противники гласности и демократии выступают против наших завоеваний. А завоеваний у нас много. Мы стоим на страже наших завоеваний и никому их не отдадим. Будете хорошо служить — и наши завоевания станут вашими. Противники гласности и демократии, подзуживаемые Западом, идут на любые ухищрения и провокации. Вчера кучка наркоманов, хулиганов и алкоголиков в количестве ста тысяч вышла на улицы с антисоветским лозунгом «Вся власть Советам!». Проходившие мимо простые советские люди в количестве двух полков спецназначения и танкового корпуса пресекли хулиганские выходки. Хулиганы выкрикивали провокационные песни:

Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.

Понятно, от кого собираются освобождаться отщепенцы. Следующий пасквиль еще хуже! Текст:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили
с врагами.
Нас еще судьбы безвестные ждут.

Вот до чего дошло! Гласность гласностью, но надо же меру знать. Какие темные силы? С темными силами у нас окончательно покончено в 1917-м, 1937-м, 1956-м, 1964-м, 1985-м и так далее.

В своей звериной ненависти к социализму бандиты дошли до открытых призывов:

Свергнем могучей рукою
Гнет роковой навсегда.
И водрузим над землею
Красное знамя труда.

Не выйдет, господа! Мы будем стоять на страже. И насчет водрузить знамя, так флаги у нас дворники вывешивают по праздникам.

Нам пришло указание — мы должны гордиться каждым прожитым днем. Гордиться начинаем завтра в 6.00. Участковым пройти по квартирам, проверить, чтоб все гордились. Кто не хочет гордиться по месту жительства, доставить ко мне. Я вас научу гордиться каждым прожитым днем! В 21.00 опять пройти по квартирам, проверить, чтоб все смотрели, что положено. Гордиться надо регулярно. Стоишь в очереди, скажем, стой и гордись, не теряй время!

Смирно! На защиту демократии шагом арш!

АНЕКДОТЫ ОТ НИКУЛИНА

В квартиру звонок. Открывает хозяйка, на пороге два здоровых амбала.

— Рэкетиров заказывали?

— Нет.

— Тогда платите 650 рублей за ложный вызов.

●

Маленький мальчик ушел в лес и пропал. Мать ждет его, бегает вокруг дачи, зовет... Наконец он появился.

— Ты где пропадал? Ушел на полчаса, а пришел через два.

— Мама! Там в лесу так интересно было! На полянке голый дядя бегал за голой тетей.

— Вот и не надо было на них смотреть, это сумасшедшие люди!

— Ну, тетя-то, может, и сумасшедшая, а дядя — точно нет. Это наш папа...

●

Свинья забегает с улицы в комнату. Смотрит на электророзетку в стене.

— Какая же сволочь свинью замуровала?!

●

Телефонный звонок.

— Общество «Память» слушает.

— С вами говорит Рабинович. Скажите, пожалуйста, действительно евреи продали Россию?

— Да, да, продали, еврейская морда! Что тебе еще нужно?!

— Я хотел узнать, где я могу получить свою долю?

Геннадий ПОПОВ

ПРО ГРИГОРИЯ ФЕДОРОВИЧА

Григорий Федорович подумал-подумал и решил выйти из федерации, стать суверенным и независимым. Взял ручку и написал заявление с требованием признать его таковым. Пошел он с этим заявлением куда надо, а там ему говорят:

— Опоздали, товарищ, вы последний остались, все остальные уже давно вышли, так что вам, по сути дела, и выходить-то неоткуда. Живите так, как есть.

* * *

Все вокруг всё критикуют, а Григорий Федорович — нет. Никакой критики от него не услышишь. А его взяли и арестовали ночью, как врага гласности и плюрализма.

* * *

Думал-думал Григорий Федорович и решил создать совместное предприятие. Вот только не знает с кем. А тут француз подвернулся.

— Давай,— говорит Григорий Федорович французу,— создадим совместное предприятие.

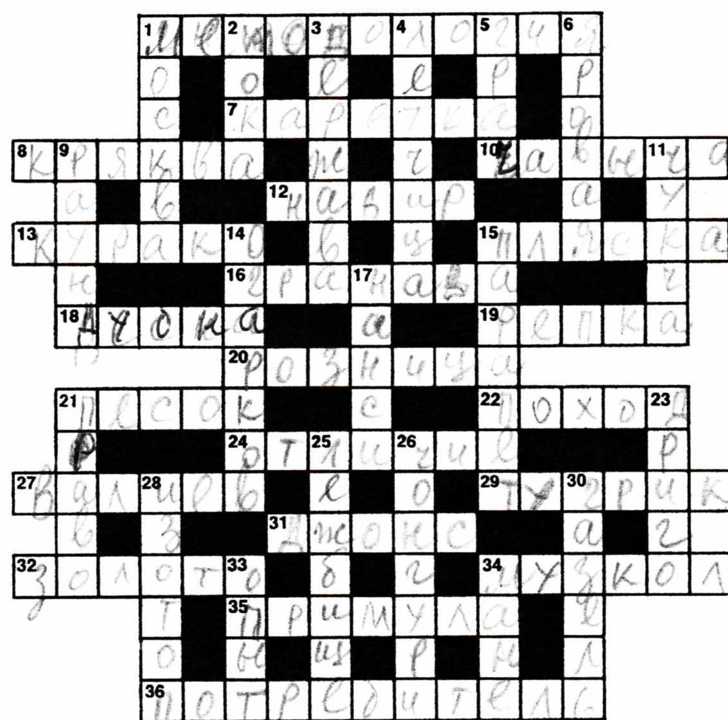
— Зачем? — не может понять француз.

«Странные эти французы,— подумал Григорий Федорович,— до сих пор не могут понять, что за совместными предприятиями — будущее».

* * *

Пошел Григорий Федорович в одно закрытое учреждение, да так и не добился ничего. Оно, как всегда, было закрыто.

Материалы подготовил
Игорь ДВИНСКИЙ.
Рисовал
Виктор КОВАЛЬ.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Учение о формах и способах научного познания. 7. Часть пишущей машины. 8. Дикая утка. 10. Тихоокеанский лосось. 12. Действующее лицо в опере Ж. Бизе «Искатели жемчуга». 13. Металлург, основатель школы русских доменщиков, активный участник революции 1905—1907 гг. 15. Народный танец. 16. Город в Никарагуа. 18. Приток Волги. 19. Русская народная сказка. 20. Товар, продаваемый небольшими количествами. 21. Рыхлая осадочная горная порода. 22. Организованное путешествие, дальняя прогулка. 24. Заслуга в определенной области деятельности. 27. Советский физик, лауреат Ленинской премии. 29. Денежная единица МНР. 31. Английский архитектор XVI—XVII веков. 32. Химический элемент, благородный металл. 34. Хребет на Памире. 35. Первоцвет, медонос. 36. Покупатель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кантата П. И. Чайковского. 2. Тувинский писатель, Герой Социалистического Труда. 3. Независимое государство. 4. Женщина-пилот. 5. Перелетная птица семейства вороновых. 6. Героиня драмы К. А. Тренева. 9. Период поединка в боксе. 11. Представитель основного населения автономного округа РСФСР. 14. Маршал Советского Союза. 15. Невысокая стенка, перила вдоль набережной, моста. 17. Административный центр департамента во Франции. 21. Совокупность обязательных норм поведения, установленных государством. 23. Композитор и дирижер, осуществивший премьеры балетов П. И. Чайковского «Спящая красавица», «Щелкунчик». 25. Местопребывание морских зверей на суше. 26. Грузинский струнный музыкальный инструмент. 28. Разновидность химического элемента. 30. Стихотворная форма в лирической поэзии народов Востока. 33. Практически усвоенные знания, навыки, умения. 34. Французский живописец XIX века.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Караваджо. 5. Ижма. 6. Кижи. 8. Тригорин. 9. Докучаев. 10. Яшин. 12. Педиатр. 15. «Лжец». 16. Гидрогеология. 19. Золя. 20. Алфавит. 23. Кета. 26. Бистрица. 27. Саламури. 28. Гама. 29. Нота. 30. Канарейка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маринад. 2. Зарядка. 3. Камов. 4. Округ. 5. Игрушка. 7. Иремель. 11. Намибия. 12. Природа. 13. Индейка. 14. Родонит. 15. Лабинск. 17. Смокинг. 18. Реторта. 21. Флагман. 22. «Выстрел». 24. Ермак. 25. Фауна.

40 коп. Индекс 70663